

*LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJA
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATūros INSTITUTAS*

LITERATŪRA IR KALBA

XIII

VYR. REDAKTORIUS
K. KORSAKAS



VILNIUS 1974

*LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJA
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS INSTITUTAS*

LIETUVIŲ POETIKOS TYRINĖJIMAI



VILNIUS 1974



J. Baltrušaitis



J. Baltrušaitis su savo žmona Marija Ivanovna Olovianišnikova apie 1930 m.

Jurgis Baltrušaitis

Vakaro Varpas

Naivonini

Hear the tolling of the
bells - From bells

Edgar Allan Poe.

Štai, padangėj judas sparnas skėčias...
Baigia žemė pokylus ir vašes,
Kur džiaugiamis ir aš, praivis svėčias,
Rūtomis, jurginiais apsikaisės...

Do žiedų ir žolės jau nuvyto...
Gelsni-štai, jė šniūda tamsų gauda,
Kaž nusekto žalos - liepsnos ryš,
Ir širdis jė sapno pasigauda...

Guosniai, pušys - mano žemės rūmai -
Pelenais, šešėliais apsijuos.
Ir - kaip liūdnas aukuras tamsumai -
Kas tai smilekta, rūkto vakarum...

Ir dejuoja, pildamas ant vėdo,
Balandėlis įydrio slėbucingo,
Bet - pasėdus - saulė nusileidė -
Nėžinau kur jaunos dionos dingo
Kasava 1. IV. 1928

JURGIS BALTRUŠAITIS

1873—1944—1973

Minint poeto Jurgio Baltrušaičio 100-ąsias gimimo metines, šiame „Literatūros ir kalbos“ tome skelbiama keliolika poeto niekur nepausdintų arba tepaskelbtų periodikoje eilėraščių rusų kalba ir keletas jo laiškų, taip pat įvairių asmenų, pažinojusių Baltrušaitį, atsiminimai, kurie padės visapusiškiau ir geriau pažinti poeto asmenybę. Be to, čia pirmą kartą publikuojamas žymaus rusų poeto A. Belo rankraštis apie Baltrušaičio lyriką (spaudai su komentarais parengė V. Kubilius ir D. Straukaitė) bei T. Venclovos informacija apie A. Belo sudarytas schemas poeto kūrybos analizei. Taip pat duodamas T. Venclovos straipsnis, kuriame atskiri Baltrušaičio eilėraščiai bandomi nagrinėti struktūriniu metodu.

ИЗ НЕСОБРАННЫХ И НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ ЮРГИСА БАЛТРУШАЙТИСА

Подготовил Ю. ТУМЯЛИС

Вопрос о полноте поэтического наследия Юргиса Балтрушайтиса еще недостаточно выяснен. При жизни поэт издал только две книги стихов — «Земные Ступени» (Москва, «Скорпион», 1911; далее — ЗС) и «Горная Тропа» (Москва, «Скорпион», 1912; далее — ГТ). Хотя уже с 1912 г. он писал и вскоре собирался издать и третью книгу, но она — «Лилия и Серп» — вышла в свет только после смерти автора, подготовленная его женой М. И. Балтрушайтис (Париж, УМСА — Press, 1948; далее — ЛИС). С этой последней книгой поэта связана и первая попытка собрать его стихи, оставшиеся вне сборников: в ней был напечатан раздел из 54 стихотворений, озаглавленный как «Приложение». Ранние стихи от 1897 г. до 1912 г., не вошедшие в книги «Земные Ступени» и «Горная Тропа»¹. В книге избранных стихотворений Балтрушайтиса «Дерево в огне» (Вильнюс, „Vaga“, 1969; далее — ДвО) в разделе «Из несобранного и неопубликованного» также было напечатано 26 стихотворений; 13 из них не вошли и в упомянутое «Приложение» М. И. Балтрушайтис.

Однако существует еще около 30 малоизвестных или вовсе не известных стихотворений Балтрушайтиса, в ходе составления его избранной обнаруженных на страницах периодической печати, в Рукописном отделении Государственной ордена Ленина библиотеке СССР им. В. И. Ленина в Москве (далее — ГБЛ), в Рукописном отделении Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР в Ленинграде (далее — ПД), в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР в Москве (далее — ЦГАЛИ) и др. хранилищах Совет-

¹ Следует отметить, что *terminus ad quem* указан неправильно: в «Приложение» вошли и стихи, написанные, напр., в 1917 и 1930 гг. Кроме того, несколько стихотворений в «Приложение» включены по ошибке, ибо они уже печатались в первом сборнике поэта.

ского Союза. 22 из них вошли в настоящую публикацию² и, надо надеяться, со вниманием будут приняты не только литературоведами, но и более широким кругом читателей.

Хотя нижепечатающиеся стихи вряд ли прибавят что-нибудь новое к установившемуся творческому облику поэта, тем не менее некоторые из них могут быть успешно использованы в изучении его творческой лаборатории, несколько расширят наши знания о неоконченных произведениях, неосуществленных замыслах и т. п. А в первую очередь — Балтрушайтис становится классиком и с полной серьезностью возникает вопрос о доступности и академической гарантированности его творческого наследия.

Надо обратить внимание и на тот факт, что существуют и такие поэтические произведения Балтрушайтиса, о которых пока имеются лишь косвенные сведения. В своей автобиографии он указывает: «Писать я начал еще в гимназии. За университетский период я написал несколько больших циклов стихотворений и две драмы»³. Но, к сожалению, никакими текстами Балтрушайтиса, написанными до 1897 г., мы не располагаем. Неизвестны также его стихи «Прерванный путь» и «В ожидании»⁴, стихотворные надписи к картинам московских художников⁵, «Песни Судь-

² Из стихотворений, не объятых настоящей и отложенных в следующую публикацию, надо упомянуть «Два Демона» (ЦГАЛИ, ф. 1022), стихотворную записку к М. П. Чеховой (ГБЛ, ф. 33), еще одно стихотворное послание к А. А. Дьяконову (ГБЛ, ф. 375), 4 сонета из цикла «Село Ильинское» («Русское слово», 25 декабря 1915/7 января 1916, № 296; список Ю. Урбшиса в Рукописном отделении Государственной республиканской библиотеки Литовской ССР, ф. 37), стихотворное обращение к композитору С. С. Прокофьеву (ЦГАЛИ, ф. 1929) и др.

³ Ю. Балтрушайтис. Автобиографическая справка. — В изд.: Русская литература XX века. 1890—1910. Под ред. С. А. Венгерова. Т. 2. Москва, [1916], стр. 299.

⁴ Упоминаются в письме к будущей жене М. И. Оловянишниковой от 25 января 1899 г. (ЦГАЛИ, ф. 1022, оп. 2, с.х. 7).

⁵ В. Брюсов. Дневники. 1891—1910. Подготов. к печати И. М. Брюсова. Москва, 1927, стр. 27 (ноябрь 1899 г.): «Случилось мне быть у художников на «Среде». Это те самые, которые образуют «Общество Московских художников»: Синцов, К. Коровин, Врубель, Калмыков, Н. Клодт и т. под. Люди убогие и недалекие. (Это, конечно, с виду.) Картины, завесившие стены, да и те наброски, которые они пишут по средам (впрочем, не лучше подписанные к ним стихи Балтрушайтиса)... (Р. С. Читал еще Балтрушайтиса очень хорошие стихи о старине)».

бы» и «Навождение»⁶, «Странник вечности»⁷, «Серебряный голубь»⁸ и др. К тому же в настоящее время известна отнюдь не вся Балтрушайтисом написанная проза, драматические произведения, критические статьи, переводы и т. п.⁹

⁶ Упоминаются в письме Балтрушайтиса к В. Я. Брюсову от 20 февраля 1906 г. из Рима (ГБЛ, ф. 386, карт. 75): «Для мартовского № [«Весов»] вышло «Песни Судьбы», если успею замкнуть их круг, или «Навождение».

⁷ Упоминается в одном из писем О. Шимайте (см. „Poezijos pavasaris“. Vilnius, 1971, p. 82): «Это мне очень напоминает стихотворение Ю. Балтрушайтиса «Странник вечности». В молодости об этом страннике Балтрушайтиса я написала сочинение у проф. литературы Сакулину (Публикация Д. Стрёмгайте).

⁸ О стихотворении (поэме?) под таким названием вспоминает В. Чюрлёните-Каружене (частное сообщение в 1972 г.). — — — Что же касается после февральской революции Ю. Балтрушайтисом написанного стихотворения «Гимн Родине», о котором пишет С. Кара-Мурза (см. S. K a r a - M u r z a. Jurgis Baltrušaitis. — „Kultūra“, 1934, Nr. 9, p. 496; оригинал воспоминаний — в ГБЛ, ф. 561), весьма возможно, что автор ошибся в названии. Как известно, Балтрушайтис в это время написал стихотворение «Привет Родине» (см. «Русское слово», 12 марта 1917, № 57; ДвО, стр. 454).

⁹ См. М. И. Балтрушайтис. [Записка о Балтрушайтисе] (ГБЛ, ф. 375); Биография Ю. К. Балтрушайтиса. — ЛиС, стр. 9; Ю. Тумялис. Об авторе и книге. — ДвО, стр. 482.

[НАДПИСЬ НА ОТКРЫТКЕ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОРАБЛЯ ВИКИНГОВ]

Валерию Брюсову

Не челн их, — воля их страшна, —
Могучий приговор их царственных желаний...
Им дан орлиный взор, чтобы царями быть,
Секира, — чтоб рубить,
И горделивый ум — для таинства познания...¹

[* * *]

Стогласный колокол нас к жизни разбудил,
Громовый клич из стороны нездешней, —
И все-то нам равно, чем кто бы не прудил, —
Мы властны, как волна, свою властью вешней!²

УТРЕННИЕ ПЕСНИ

1

<...>

2

День идет! Скользнув по тучам,
Льется-брызжет на простор,
Сыплет золотом по кручам,
По вершинам сонных гор;

В тишь бросает щебетанье —
В чутко дремлющем лесу —
И алмазное сиянье
В серебристую росу;

Все знойнее, все отвесней
Жизни светлый властелин —
Луч живой живою песней
Будит сонных средь долин —

И пред пиршеством раздолным
В шумный праздник бытия
С криком радостным и вольным,
Будто звоном колокольным,
Пробуждается земля!

3

Благословляю вас, росистые поля,
На долгий цвет под сению лазури,
На гневный гром и вихрь случайной бури, —
На всю истому пламенного дня.

Ваш радостный простор мой дух освобождает
От горькой слепоты незнания моего,
И в полноте восторга сердце постигает
Премудрость Пахаря и замыслов Его.

И вот во храме дня — пред божьим аналогом —
Пред вами я с молитвою стою
И воспылав, как вы, небес лазурным зноем,
Доверчиво внимаю бытию.

Я с вашим шелестом свой тихий вздох сливаю.
Мне легок плен земли! Всю боль минувших ран
Я с тайной радостью, смиряясь, забываю, —
Красуйся, шелести, зеленый океан!³

[* * *]

Кругом, вдали, была святая тишина,
А он, искатель рыночного шума.
Хотел исчерпать здесь всю суетность [до дна?]
И победил! О ночь! О свет! О дума!⁴

ИЗ ПРОЛОГА К ПОЭМЕ «БЕДУИНЫ»

Глубоко полночь над пустыней
Звездами вечными горит, —
Своею строгою твердыней
Ее молчанье сторожит...

: : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : :

Но, будто птица, двинув крылья, —
Дохнет чуть слышно над землей,
То от лучистого обилья
Прольется огненной струей...⁵

[* * *]

Волны и волны и волны — бегут,
Думы и думы и думы живут...
К сырому берегу хлынул прилив...
Мысль, упование, порыв...

Волны приносят грядущую весть,
Волны да волны — их бега не счесть.
Счастлив, кто поднят восставшей волной!
Братья живые, спешите за мной!⁶

SEMPRE LO STESSO

Ave, c'ruх, spes unica!

За годом год, за днем — такой же день...
Вся наша жизнь — всегда одно и то же, —
Боязнь в мечтах, в деяньях — низость, лень;
В подвижнике, и в смерде, и в вельможе, —
Ни в ком не выше суетный порыв,
Как и ни в ком сознание не дороже...
Как стебли трав среди убогих нив,
Беспомощно мы тянемся к высотам,
Их красотой себя не осенив;
К игрушечным прикованный заботам,
Любой из нас так важно деловит, —
Кошечей в душе, а смотрит щедрым мотом...
Участливый, но только лишь на вид,
В своих делах коварен всяк и хищен,
На все с кровавой завистью глядит;
И даже тот, кто скорбию очищен
И радостью прозренья умудрен,
Не менее безумного напыщен...
Весь человек, как сорный злак времен,
В безмерном вихре смен и обновлений —
Всегда, везде — был только повторен...
Войдет ли в жизнь певучий шум весенний
Иль вспыхнет зноем летняя страда, —
Мы все полны изведанных томлений,

Блачим ярмо постылого труда...

И этот труд вседневно кропотливый
Не может быть окончен никогда...

Простак в душе и гордый ум пытливый
Равно бессильны тайну разгадать,
Зачем живем и чем мы в мире живы...

И только смерть, идущая как тать,
Нам скудный мир едва-едва меняет,
Отняв сестру, любовницу иль мать...

Тот, кто спешит, — другого догоняет,
И тот, кто медлит, — вряд ли так отстал,
Что к общему ночлегу запоздает...

В пустыне вод встает за валом вал,
Крикливо пенясь волею мгновенья,
Чтоб скорбно пасть к ногам безвестных скал;

С утесов горных в бешенстве стремленья
Бегут ручьи, сверкая белизной, —
И здесь и там — все той же цепи звенья...

Встречая день в час утра золотой,
Не раз с тоской все наше сердце ждало,
Что будет он торжественно-иной,

Но только он окончился устало,
В отчаяньи тяжелом и немом
Узнали мы, что это уж бывало!..

И так всегда — сегодня, как в былом —
В повторности отрады и страданья
Мы глухо ждем в движеньи круговом, —

Во всех одно отчаянье и знанье!
Во всех одна безумная мечта
Узнать, найти, дожидаться оправданья —

О человек! О скорбный сирота!⁷

ГИМН УТРУ

Io nacqui ogni mattina.

[G.] d'Annunzio, *Laus vitae*

Ты каждый день, жемчужно-золотое,
Приходишь к нам из темной глубины
Облечь простор в сиянье неземное,
Зажечь людские сумрачные сны...

Едва подняв свой факел огнецветный,
На выси гор ты первый бросишь луч,
Ты всюду в мире слышишь гимн ответный,
Где каждый возглас радостно-певуч...

Сверкнув росой на каждом божьем склоне,
Ты льешься с пеньем в каждый дымный дол, —
Звенишь, гудишь, — вызываешь в первом звоне,
В ликующем жужжаньи ранних пчел;

В твой пышный час, в готовности раскрыться,
Весь мир лишь ждет алмазного луча,
Чтоб красотой и блеском озариться, —
Чтоб стала жизнь, как пламя, горяча.

И вот, расторгнув темную преграду
Качнувшихся, поплывших облаков,
Ты ринулось, подобно водопаду,
И нет границ — и нет тебе оков, —

И в первый миг живого содроганья
Весь мир поет, как звонкая струна,
И вся земля, как кубок ликования,
Тобой до края празднично полна...

Но если ты своей лазурной славой
Зажгло поля и даль зеркальных вод
И пронеслось над каждой дубравой,
Как светлых вихрей звонкий хоровод;

И если ты — живым прикосновеньем —
Коснулось ярко каждого цветка
И свой же луч певучим дуновеньем
Спешишь раздуть в порыве ветерка, —

Ты все ж нигде с такою силой знойной
Так пламенно возникнуть не могло,
Пока во мгле своею песней стройной
Людское сердце ярко не зажгло...

Едва пастух на твой призыв звенящий
Запел о часе радостных чудес,
Уже оно, как птица в темной чаще,
Приемлет клич от пламенных небес, —

И все, что в нем померкшей искрой тлело
Среди обмана будничных забот,
Теперь опять ликующе и смело
В твоих огнях пылает и живет, —

И все, что ты, владея божьим миром,
Могло раскрыть в восторге красоты,
В горячем сердце дышит вешним пиром,
Таинственным простором высоты, —

Твой горний свет, пролившийся обильно,
Воззвал к нему, склоненному ко сну,
И вот оно теперь уже бессильно
Твою-свою-измерить глубину.

Еще в морях гремучий вал
К дневной тревоге не воззвал, —
Еще в горах туман ночной
Висит, дымясь, над крутизной, —

Еще орел своим крылом
Не машет в небе голубом, —
Еще небесная лазурь
Не слышит звона диких бурь, —

Уж вся земля обнажена,
И ширь, и высь, и глубина
Уже раскинулась опять,
Чтоб Утро светлое принять, —

Чтоб шире каждая струя
Брывалась в русла бытия,
Чтоб всех коснулось торжество
Беличем часа своего...

И вот уж вспыхнул небосклон,
И вот уж громче, ближе звон, —
Качнулась ель и дрогнул дуб
От пенья тысяч звонких труб, —

И загудел певучий лес,
Заслышав благовест с небес, —
И вихрь, раздвинув каждый куст,
Поет напевом вещей уст, —

То машет крыльями ветвей,
Качая кружево теней,
То вдруг взовьется в высоту,
Звения, вызывая на лету...

И вот пред блеском без границ
Редая тени пали ниц, —
И всюду каплями огня
Светло нахлынул ливень дня, —

И в каждый звук, и в каждый крик
Восторг таинственный проник, —
Какую даль, какой простор
Увидел в мире каждый взор!

Какою сказкой неземной
Возник во всем алмазный зной!
Какая сила у луча!
Как ласка жизни горяча!

Сколько жизни, сколько песен
Утро божье нам зажгло
Там, где мир был сердцу тесен,
Где нахмурилось чело!

Сколько светлого стремленья,
Дум, надежд и ярких грез, —
Сколько жажды, — утоленья,
Луч твой в сумрак наш принес!

Он облек жемчужным светом
Ледяные выси гор
И взглянул живым приветом
В каждый скорбный, тусклый взор...

Там, где облако, как знамя,
Развернулось на ветру,
Он взметнул его, как пламя,
Ввысь, к лазурному шатру...

Там, где в ярости мятежной
Спорят волны с тишиной,
Он одел их пену нежной
Искрометной белизной...

Там, где сердце было больно
Биться сумрачно в плену,
Он обильно и привольно
Вновь раскрыл пред ним весну...

Снова силой упованья
Светел в жизни каждый путь, —
Сколько веры, сколько знанья,
Утро, можешь ты вдохнуть!

Как уверенно, безопасно
Ликование труда,
Точно солнце светит вечно.
Не смеркалось никогда...

Бсюду звонко, всюду зычно,
Раздается каждый крик
И ликует безгранично,
Не смолкая ни на миг, —

В песнях радостной заботы
Все созвучно и полно, —
Точно, Утро, и само ты
Все из песен сплетено...

Бесконечно шумна световая волна,
Где в жемчужном венце голубеет весна,
Где, как огненный щит, Утро божье горит,
Где простор беспредельно раскрыт...

Много замкнуто в ней искрометных огней
И мгновений, и долгих безоблачных дней,
Что зажгутся не раз, как рубин, как алмаз, —
В благодатный строительный час...

Много радостных грез и восторгов, и слез,
И неожиданных ответов на долгий вопрос
Вспыхнет с этой волной, грянет ранней зарей
То мятежной, то пьяной игрой...

В брызгах этой волны, неземной глубины,
Зацветут-расцветут мысли, вещие сны, —
Оросятся поля, утолится земля,
О продлении часа моля...

Под дождем огненным станет сердце живым,
Возрожденным, упорным, рассветно-иным, —
И заискрится все в первозданной красе,
Как сияние Утра в росе...

Много в жизни разгульных и светлых пиров,
Много в сердце восторгов, молитвенных слов,
Прославляющих ширь бытия, —

Щедро, Утро святое, ты весь с высоты
Вихрь огней, озаряющих час полноты,
Где сбывается правда твоя...

В твой молитвенный час приобщаемся мы
Чуду искры, впервые возникшей из тьмы
Под громовым огнем творца, —

Чтоб зажглись-зажигались туманы веков,
Чтоб ярче в плену, в мире темных оков,
Возгорались живые сердца...

Этот пламенный миг первозданного дня,
Этот божий порыв, этот праздник огня
Ежедневно мы вновь познаем, —

В блеске каждой зари мы всеильны опять
Правду жизни стократ и светло повторять
В беззаветном порыве своем...

Сколько дней и миров ни замыслил творец,
Звон рассвета возникнет в неволе сердец,
Отразится в серпе и в мече, —

Даже тот, кто пред правдою смерти поник,
Будет снова певуч, утолен и велик,
Возродится в безмерном луче...

Льются волны жемчужного света
В обнаженный простор без конца,
Чтобы вспыхнуло празднество лета
И на ниве, и в сердце жнеца...

Разгораясь пожаром всемирным,
Чередуются вихрем огни
И горят ликованием пирным
Даже тем, кто томится в тени...

С их набегом и в море безбрежном,
Как и в чашечке скромной цветка —
Всюду жизнь в содроганьи прилежном
Возрождением сим глубока, —

В ликовании кубков заздравных
На рассветном великом пиру
Нет для солнца на свете неравных,
Не сплетенных в живую игру, —
То, что вспыхнуло в сердце усталом,
То, что утро зажгло в небесах, —
Трепетанье в великом и малом
Равновесно на вечных весах, —
Всюду, Угро, безмерно и щедро
Воспылало твое торжество, —
Да расторгнутся темные недра
Благодатью луча твоего...⁸

[* * *]

Рыданье, хохот, мысль, слова
И визг, и грохот, топот, стук, —
Вся жизнь гремит, как жернова,
Могуч и громок каждый звук...

Свободной воли возглас зычный
И свист кровавого бича,
Здесь лепет дня косноязычный,
Там звон разящего меча...

Влачит в телеге крепкий вол
Пшеницу, плевелы, овес, —
Все поступает в перемол
Движеньем мельничных колес...

Усилье подвига, величье,
И дум и чувства нищета, —
Нигде нет строгого различья,
Слаба раздельная черта...

Отрывист ропот бытия
В громах, в напевах и во всем, —
И лишь упорная струя
Журчит, гремит под колесом...⁹

SEMPRE LO STESSO

Мы входим в жизнь, как в темный дом игорный,
Где всех нас ждет обманщик-банкомет,
Услужливый, коварный и проворный...

Кто труд, кто честь, кто золото несет,
А кто — души величье и свободу, —
Он рад всему, он все у нас берет;

Уступчиво, как будто нам в угодую —
Под видом одолженья, — он всегда
Давно готов к расчитанному ходу;

Чтоб заманить добычу, иногда
Он сам себе в убыток явный мечет, —
А там, глядишь, ограбил без труда;

Он знает все, — где чет, где нечет,
А повстречав сильнее игрока,
Он выигрыш уловкой обеспечит...

Едва мелькнет дрожащая рука,
Где иногда последнее зажато,
Все ссыплется в суму ростовщика...

Ему одно в корыстном сердце свято —
Владеть своей награбленной казной, —
Один восторг — дрожать под звон дуката...

И все же мы доверчивой толпой
Спешим к нему средь воплей, криков, давки
С надеждою предательски-слепой...

Оставив все у плута на прилавке,
Мы все равно на свете узнаем,
Что между нами — разница лишь в ставке...

Один несет скопленное трудом,
Другой — остаток дедовских стяжений,
Тот жалкий грош, а тот стада, свой дом, —

Когда ж игра подходит к темной грани,
Нас всех равняет ужас пустоты —
Удел забот, тревоги и стараний...

В отчаяньи последней нищеты
Один лишь тот крупницею богаче, —
Кто уберег мерцание мечты,

Кто разгадал в суровой неудаче
С бестрепетным смиреньем мудреца,
Что не могло — не может быть иначе...

И все же мы стремимся без конца
Бросать в игру с упорством своенравным
Свои мечты, и думы, и сердца...

А банкомет с бесстыдством слишком явным,
Не брезгая и нищенской сумой,
Встречает нас владыкой полноправным;

Кляня тирана рабскою душой,
В тот час, когда мелькнет освобождение,
Мы снова ждем неволи золотой;

Утратив все в порыве ослепления,
Мы на игру взираем из угла, —
На боль и стыд чужого заблужденья, —

И даже тот, пред кем судьба зажгла
Иных сияний празднество живое,
Покинув высь, где жизнь была светла,

Торопится на пиршество слепое,
Чтобы ценою капли забытья,
Где искрится все счастье людское,

Проникнуть глубже в ужас бытия...¹⁰

[* * *]

Ворочайте камни, дробите утесы,
пусть злобно гудят жернова, —
все прочее в жизни — пустые вопросы,
пустые, смешные слова...
Ленивцам и детям — мечты и гаданья,
нам, скорбным, заботы, труды, —
великая горечь немого познания
и вечная близость беды...¹¹

[ПИСЬМО К А. А. ДЬЯКОНОВУ]

Простите... Вот и я дерзаю
Вниманье Ваше утруждать, —
Хотя, признаться, мало знаю,
Что отрицать — что утверждать...

Лишь тот на свете — гость желанный,
Кто может вещью мечтой
Иль думой радостно-нежданной
Нарушить тишь души чужой...

А я возвышенною сказкой
В чужое сердце не войду, —
Живой росой, рассветной лаской
На грудь земли не упаду...

Что знаю я? — Снося тревогу,
Где в сиром сердце гаснет пыл,
Завет, мне данный на дорогу,
В пути я рано позабыл...

Один, блуждая в трудном зное,
В исканьи тщетном я устал,
Свое томление земное
В мечтах недолго коротал...

И вот, без знания, без вопроса,
Где в мире скрыт искомый клад,
По склону темного откоса
Плетусь-блуждаю наугад...

Я день встречаю песней громкой,
И пусть до цели далеко,
С моей убогою котомкой
Мне в мире странствовать легко...¹²

[ВОСЬМИСТИШИЕ О «ЗОЛОТОМ РУНЕ»]

Тот же пруд... Знакомый ельник...
Грохот прежнего труда...
Что ново — один лишь мельник, —
Старая вода!
Новый ковш да брага та же...
В старой церкви новый поп...
Сей бумаги уж в продаже —
Сорок тысяч стоп...¹³

[ПАРОДИЯ]

Чик да хлоп — хлоп да чик,
Бравый хлопец, временщик!
Быстро всем забреет лоб, —
Чики-чики — хлоп да хлоп!¹⁴

[* * *]

Проходит жизнь, в глазах рябя!
Ничтожным чем занять себя,
Как не игрушечной борьбой,
Грошевым чванством-похвальбой?

Нажива-делка-чванство-спесь,
Мой бедный мир, ты в этом — весь!
Своим ходульным существом,
Своею распрей, сватовством,
Довольством скаредным своим
От брата брат неотличим, —
Он что за птица? — воробей,
Смешная дробь среди дробей!
Смешна их ненависть, любовь,
Куриный разум, рыба кровь,
Добра грошевость и греха,
Ну, словом, чортова уха!
Людское сердце — с ноготок,
В ней божьей страсти — щепоток...
Жена — козявка, муж — комар:
Таких на свете много пар.
В людском мозгу и в сердце — снег,
Таков хваленый человек!
Лишь росту-росту у божка
Три с половиною вершка, —
На сем прощай, любезный друг,
Болтать мне больше — недосуг!¹⁵

[* * *]

Не знаю, где душа моя витает;
В немых степях? Среди ль полярных льдин?
Проходят дни... Темнеет и светает...
Мой дух! Во тьме и свете ты — один.¹⁶

[* * *]

Гадал и ждал... Хотел стремиться —
Хоть на авось...
Но торжеством стремленья осениться --
Не довелось!

Немые дни к минувшим отходили:
Все нуль — к нулю...
И я из тех, про конх говорили:
Il a voulu!
Ведите ж счет! Дано вам много знаков.
Раз-два-и-три!
Их вид различен, смысл же — одинаков:
Зола-внутри...¹⁷

[* * *]

Лето за летом проходит,
Думы приводит — уводит...
Весь урожай!
Хочешь, тужи по пустому,
Кланяйся Року святому,
Иль угрожай!
Он же всегда молчаливо
Трудится злобно, ревниво
Косит цветы...
Вместе с нежными цветами,
С потным деяньем, мечтами
Вянешь и ты!
Летняя доля в ущербе,
Листья бледнеют на вербе,
Ссохся и дуб...
Все ненадежно и зыбко...
Ах! Нам не скрасить улыбкой
Бледности губ!¹⁸

[* * *]

Ах, вся беда, что мы одновременно —
И тайное паденье, и подъем;
Томимся скукой будничной, бессменной, —
От долгих празднеств столь же устаем...

Нам страшно тьмы, как страшно [в] полдень знойный...
Что ж в сумерки, где свет смешался с тьмой,
Людское сердце бьется беспокойно
И с тайной болью ропщет разум мой?!

Смеется ум над бедствием сердечным,
Нелепо сердцу хлопоты ума...
И вот, в ночи, внемлю их спорам вечным,
Не ведая, что — вольность, что — тюрьма...

Бегут часы... Чуть внятно их журчанье...
И с каждым часом близясь к рубежу,
Как маятник, чья жизнь — тоска качанья,
Из мига в миг один перехожу...¹⁹

[* * *]

Сердце да верит упорно
Яви открывшимся снам.
Сейте озимые зерна!
Вскиньте ступени во храм!²⁰

[* * *]

Скорбит в молитве дьякон за обедней,—
Изгнанье праха как перевозмогу! —

А я, скорбя, для горечи последней
Немые слезы сердца берегу.²¹

[* * *]

Возможно ли не видеть, видя? —
Вот в рукопашной — лишь в руках весь прок.
Но как, скажите, эти люди, сидя,
Дошли до ног?..²²

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Текст — автограф Балтрушайтиса в архиве В. Я. Брюсова (ГБЛ ф. 386, карт. 75, е. х. 43). После первого двустушия, а также в конце текста — подписи инициалами «Ю. Б.». В письме к В. Я. Брюсову из Голмстранда от 15 июля 1901 г. Балтрушайтис писал: «Купил для Вас снимок с корабля викингов, видел самый корабль и несколько викинговых костей (их хоронили вместе с кораблем)» (там же). Открытка, по-видимому, была вложена в конверт, адресованный «Его Высокоблагородию Георгию Георгиевичу Бахману. Передать В. Я. Брюсову. Малая Спасская. д. Осипова. Здесь».

² Текст — в письме Балтрушайтиса к В. Я. Брюсову от 20 октября 1901 г. из Москвы (ГБЛ, ф. 386, карт. 75, е. х. 43). Тексту четверостишия предшествуют слова: «Ну с, Валерий, теперь поработаем! Помня следующее»...

³ Текст в альб. «Северные цветы на 1902 г., собранные книгоиздательством Скорпион». Москва, 1902, стр. 142—143; автографы — в архиве В. Я. Брюсова (ГБЛ ф. 386, карт. без шифра). 1-ое (намн опущенное) стихотворение «Просияла заря перед шествием дня» после незначительной правки было напечатано в ЗС (стр. 11; ДвО, стр. 37), в цикле под тем же названием. 2-ое, т. е. «День идет! Скользя по тучам», озаглавленное «Из Песен Зари» — в письме к Г. Г. Бахману от 3 марта 1902 г. из Москвы (ПД, ф. 22, № 77), как «пустячек из последних». 3-е стихотворение, «Благославляю вас, росистые поля», повторяет несколько строк стихотворения «Нарядно выставл дол, взбегая на холмы» (см. ЛиС, стр. 168; ДвО, стр. 438).

⁴ Текст — автограф Балтрушайтиса на открытке с силуэтом М. Семенова, адресованной С. А. Полякову (ПД, ф. 240, оп. 1, № 11). Почтовый штемпель: „München, 31 Aug. 1902“. Ср. стихотворение «Отчаянье» (ЗС, стр. 167; ДвО, стр. 135).

⁵ Текст — автограф Балтрушайтиса с пометой «29 мая 1903» в архиве Г. Г. Бахмана (ПД, ф. 22, № 8, л. 10а). В письмах из Виареджио (Италия) уже в 1902 г. Балтрушайтис писал к Г. Г. Бахману (29/16 мая): «Очень занят своими «Бедуинами» и «Морским царем». Если будет готово раньше встречи, пошлю» (ПД, ф. 22, № 77) и к В. Я. Брюсову (начало июня 1902 г.): «Если хотите знать что-нибудь обо мне, то я занят своими «Бедуинами» и «Морским царем», весь одержим образами, каких еще никто не знавал, как не знавал я сам, живу в мире ночных сочетаний, соприкасаясь с некоей первозданной наготой, в тихом, меняющемся таинстве. Мучительно, свободно и радостно» (ГБЛ, ф. 386). Поэму «Бедуины» Балтрушайтис собирался включить в свою первую книгу. См. Каталог книгоиздательства «Скорпион» к началу 1904 года. [Москва, ценз. 10 октября 1903], стр. 4: «Ю. БАЛТРУШАЙТИС. Книга поэм. Бедуины. Морской царь. Вечер. Спутники Колумба. Лирика. (Готовится к печати)». Од-

нако эта книга не была издана; неизвестны также и другие вышеупомянутые поэмы (см. Ю. Тумялис. Об авторе и книге, стр. 482). Этот отрывок является единственным в настоящее время известным текстом из поэмы.

⁶ Текст — автограф Балтрушайтиса с пометой «17 июня 1903 г. Старе Село» в архиве В. Я. Брюсова (ГБЛ, ф. 386, карт. без шифра).

⁷ Текст — авториз. машинопись в архиве В. Я. Брюсова (ГБЛ, ф. 386, карт. 75, е. х. 44, л. 8—8 об.) с пометой «22 июня 1903 г. Меррекуль», откуда в письме от 23 июня: «Вместо слов и рассказов посылаю вчерашние терцины». В письме от 24 июля 1903 г. из Меррекуля Балтрушайтис писал к В. Я. Брюсову: «Как ваша книга? Я свою привезу с собой... Содержание ее, против объявленного, будет несколько иное: из поэм войдут лишь «Спутники» и «Вечер», остальное — «Осенняя баллада», терцинная сюита „*Sempre lo stesso*“ и несколько стихотворных отделов». На брюсовскую оценку стихов Балтрушайтис отозвался в письме от 24 августа из Меррекуля: «Свое „*Stesso*“ особенно отстаивать не стану, хотя не думаю, чтобы в нем «поучение» стояло впереди кое-чего другого. К нему, может быть, прибавится еще одна глава. В книге оно будет в самом конце. Вообще все это «с краю» (там же). „*Sempre lo stesso*“ (итал.) — Всегда одно и то же. „*Ave, crux, spes unica!*“ (лат.) — Славься, крест, единственная надежда! Под тем же названием Балтрушайтис в 1903 г. написал и другие стихи (см. стр. 353—354).

⁸ Текст — авториз. машинопись (ЦГАЛИ, ф. 1022, оп. 2, е. х. 6, л. 1—7) с пометой «5 августа 1903». В сокращенном (108 строк) и измененном виде стихотворение было напечатано в «Весах» (1906, № 12, стр. 1—4), в сборнике «Чтец-декламатор» (Изд. И. И. Самоненко. Т. 3. Новая поэзия. Киев, 1908, стр. 145—148) и др. с подназванием «Оратория». Окончательный вариант (82 строки) под названием «Славься, Утро» напечатан в ЗС (стр. 21—25). „*Io nasqui ogni mattina*“ (итал.) — Я возрождался каждое утро (цитата из сочинения Г. д'Аннунцио «Хвала жизни»). Опубликование этого варианта «Гимна Утру» может иметь значение для лучшего знакомства с творческой лабораторией Балтрушайтиса.

⁹ Текст — авториз. машинопись (ЦГАЛИ, ф. 1022, оп. 2, е. х. 6, л. 14) с пометой «5 августа 1903 г.» Последние две строки написаны от руки поверх перечеркнутого текста машинописи. Написано в Меррекуле.

¹⁰ Текст — в журнале «Новый путь» (Санкт-Петербург), 1903, декабрь, стр. 58—60. См. примеч. 7.

¹¹ Текст — в письме Балтрушайтиса к А. А. Дьяконову от 1 июня 1904 г. из Меррекуля (ГБЛ, ф. 375, карт. 5, е. х. 28, № 10). Тексту стихотворения предшествуют слова: «Внутри устанавливается некоторое равновесие, столь необходимое для ужасающей груды предстоящих работ».

¹² Авториз. машинопись, отправленное в качестве письма к А. А. Дьяконову с пометой «26 июля [19] 04 г.» из — Меррекуля (ГБЛ, ф. 375, карт. 5, е. х. 28, № 11). Последняя строка написана от руки.

¹³ Текст — в письме Балтрушайтиса к А. А. Дьяконову от 24/11 марта 1906 г. из Рима (ГБЛ, ф. 375, карт. 5, е. х. 29, № 23). Тексту восьмистишия предшествуют слова: «О «Золотом Руне» и не хлопочите. Откровенно говоря, меня оно не интересует, — ибо мне точно известно: куда плывут оные «аргонавты», хотя в предыдущем письме (от 28/15 февраля 1906 г. из Рима) писал: «Пошлите и оное «Золотое Руно». Ибо хочется осязать сии грамоты» (там же). После эпизодического сотрудничества в «Золотом Руне» — художественном, литературном и критическом журнале, издаваемом московским капиталистом Н. П. Рябушинским — Балтрушайтис с некоторыми другими писателями официально порвал всякие связи с журналом (см. «Русь», 23 августа/5 сентября 1907; «Весы», 1907, № 8, стр. 79). Отрывок восьмистишия опубликован А. Турковым в предисловии к книге Ю. Балтрушайтиса «Дерево в огне» (Вильнюс, 1969, стр. 17).

¹⁴ Текст — в письме Балтрушайтиса к А. А. Дьяконову от 29 августа 1906 г. из Москвы (ГБЛ, ф. 375, карт. 5, е. х. 30, № 23). Четверостишию предшествуют слова, оценивающие тогдашнюю атмосферу художественного мира: «Да, батенька, если не все, то весьма многое попряталось, притаилось. В текущем положении виноваты решительно все. Поверженное опять приподнялось. Нужно ждать, что частенько придется слышать оные «чик да хлоп». По Косте Бальмонту это вышло бы так»...

¹⁵ Текст — в письме Балтрушайтиса к А. А. Дьяконову от 14 января 1907 г. из Москвы (ГБЛ, ф. 375, карт. 5, е. х. 31, № 66). Тексту стихотворения предшествуют слова: «Мы только теперь выбрались из лесу спектаклей, балов, обедов, именин и прочей суеты. Точно человеческая жизнь — сплошной, приятный пасьянс. Иным приходится рассуждать иначе. Лично я все вот катаю мой Сизифов камешек; ростом он с янчк, да как-то слишком тяжеленец становится. Все же, «Славься, Утро!» Хотя невыносимо мутит от слишком мелких интрижек, от явной, как сольце на супу, мышинной хитрости, от больше, чем деревенских запросов. Вот и тужи тут о «великом».

¹⁶ Текст — в письме Балтрушайтиса к А. А. Дьяконову от 12 февраля 1907 г. из Москвы (ГБЛ, ф. 375, карт. 5, е. х. 31, № 73). Тексту четверостишия предшествуют слова: «Оглянешься кругом, и начинаешь не на шутку сомневаться, стоит ли нести этот мучительный крест искусства, раз оно так медленно и дымно зажигает людей. Сажали бы люди свой картофель, пекли бы свои калачи, а строить соборы им, пожалуй, не за чем... Впрочем... в данное время для меня единственно важно то, что солнце уже пригревает щеку, что больно глазам от позолоченной крыши в снегу, что в крови пробуждается некое солнечное беспокойство... Все прочее относится к царству лунной ночи, где Смерть выходит на прогулку... Хотя пишу же вот и это».

В том же письме — еще одно четверостишие, которое впоследствии в несколько измененном виде в качестве заключительной строфы вошло в стихотворение «Черное озеро» (см. ЗС, стр. 80; ДвО, стр. 78).

¹⁷ Текст — в письме Балтрушайтиса к А. А. Дьяконову от 25 апреля 1907 г. из Москвы (ГБЛ, ф. 375, карт. 5, е. х. 31, № 93). *Il a voulu!* (франц.) — Он хотел(жаждал)!

¹⁸ Текст — в письме Балтрушайтиса к А. А. Дьяконову от 1 августа 1907 г. из Майоренгофа (ГБЛ, ф. 375, карт. 5, е. х. 32, № 108).

¹⁹ Текст — в письме Балтрушайтиса к А. А. Дьяконову от 14 октября 1907 г. из Москвы (ГБЛ, ф. 375, карт. 5, е. х. 32, № 125). Тексту предшествуют слова: «Здесьняя жизнь, как, видимо, всякая, поразительно похожа на московскую мостовую, которая всегда полуперегорожена барьерами, которая все еще в починке, хотя не видно, кто ее портит и кто ее чинит. Всюду надписи «шагом», всюду приходится пробираться стороной, без того разгона и разбега и кратчайшего расстояния, вне которых и досадно подчас, и душно, и нервно. В час, когда ощущаешь жизнь эпически, — рельеф ее нелеп и непостоянен; в час же, когда чувствуешь ее лирически, — правое и левое оказывается не на своих местах... Вот и сижу, поздно за полночь, с моим тяжелым дыханием, с моим отяжелевшим, как киевский арбуз, сердцем, до неизвестного часа душевной полноты, когда все скроется из виду и будет мельком ощущаться, как та же полнота и согласие».

²⁰ Текст — приписка Балтрушайтиса на открытке к В. И. Иванову (ГБЛ, ф. 190, № 13, е. х. 34); почтовый штемпель: «Тула. Вокзал. 2.9. [19]14». Известно позднее (около 1925 г.) стихотворение Балтрушайтиса «С верой в груди упорной», в котором повторяется и 3-я строка (см. ЛиС, стр. 140; ДвО, стр. 399).

²¹ Текст — автограф Балтрушайтиса на клочке нотной бумаги с пометой «Москва, 1927» в архиве В. В. Нечаева (ЦГАЛИ, ф. 2076, оп. 1, е. х. 177, л. 1).

²² Текст — в архиве В. В. Нечаева (ЦГАЛИ, ф. 2076, оп. 1, е. х. 177, л. 3). На обороте листа помета: «Экспромт Ю. Балтруш[айтиса] рукой Игнатовой И. И.» Предполагаемое место и время написания: Москва, 1920-ые гг.

IŠ J. BALTRUŠAIČIO EPISTOLINIO PALIKIMO

Parengė K. DOVEIKA

Jurgis Baltrušaitis, ilgus metus gyvendamas Maskvoje ir čia aktyviai dalyvaudamas literatūriniame bei kultūriniame gyvenime, turėjo progos bendrauti ir net draugauti su A. Čechovu, M. Gorkiu, A. Bloku, V. Briusovu, A. Belu, K. Balmontu, A. Skriabinu, O. Mandelštamu, N. Rerichu, A. Džakonovu ir daugeliu kitų rusų rašytojų, poetų, menininkų, kultūros veikėjų. Asmeninės draugystės ryšiai Baltrušaitį siejo ir su lietuvių rašytojais, ypač su V. Krėve-Mickevičiumi ir B. Sruoga, su kuriais jis, atvykdamas tarnybos reikalais į Kauną, susitikinėdavo, turėjo su jais ir bendrų literatūrinių interesus.

Yra išlikusi gausi Baltrušaičio korespondencija, kurios adresatų sąrašas labai didelis ir įvairus. Nemaža Baltrušaičio laiškų yra patekę į valstybinius mūsų šalies archyvus, esama jų dar, be abejonės, ir pas privačius asmenis, poeto gimines. Kai kas iš Baltrušaičio epistolinio palikimo jau buvo publikuota sąjunginėje spaudoje. Mūsų respublikos periodikoje ar atskiruose leidiniuose kai kurie Baltrušaičio laiškai ar jų ištraukos buvo skelbtai „Poezijos pavasaryje“ (1968), „Jaunimo gretose“ (1967, Nr. 3), „Kultūros baruose“ (1967, Nr. 1), „Svyturyje“ (1968, Nr. 5), „Literatūroje ir mene“ (1968.VIII.1 ir 1973.VI.9), „Nemune“ (1973, Nr. 4) ir kt.

Nemažas poeto laiškų pluoštas saugomas Lietuvių kalbos ir literatūros instituto bibliotekos rankraštyne. Keletas jų, adresuotų B. Sruogai ir V. Krėvei-Mickevičiui, publikuojama šiame leidinyje. (Jų signatūros: F 53—720, 721, 723, F 51—71). Ypač daug Baltrušaičio laiškų kopijų iš įvairių archyvų yra pasidaręs J. Tumelis, kuris dalį jų yra numatęs paskelbti sąjunginėje ir respublikos periodikoje ar mokslinio pobūdžio leidiniuose.

Reikia tikėtis, kad Baltrušaičio epistolinis palikimas ilgainiui bus paskelbtas ištiesai. Tai būtų vertingų žinių šaltinis ne tik lietuvių, bet ir rusų literatūros tyrinėtojams.

LAIŠKAI BALIUI SRUOGAI

1

Maskva, 1930 m. birželio 5 d.

5.VI.1930

Mylimas Baly,

Ačiū už laišką...

Eilių „N. žodžiui“¹ nesu tvirtai pažadėjęs, kadangi taip nerandu tinkamų, taip pats „Žodis“ man atrodo kažkoks keistas ir skystas.

Dėl „Ars Sacrifica“² pilnai sutinku, kad revoliucijos šešėlis būtinai reikia išmesti. Be to, labai suprantu vertimo klaidas. Tuo tarpu, turėdamas laisvo laiko, versk, kas lengvai verčiasi, kas nepasiduos, pamėginsime išversti kartu, kuomet būsiu Kaune (apie mėnesio patį galą). Žinoma, tai turi būti ne vertimas.

Dėl paties pavadinimo ar neteks apsistoti prie „Ars Sacrifica“. Sulig mano žodinių sacrificus kaip tik yra жертвенный. Drįstu taipogi dėti ir sacrificans, nes tai atsako pamatinei minties esmei.

Dėl Ivanovo straipsnio³. Aš nemanau, kad jį naudinga būtų jau dabar spausdinti. Geriau būtų palaukti mano lietuviškos knygos. Jeigu jau spausdinti prieš tai, tai gal geriau būtų, kad eilių citatas išversčiau ar antrąsyk parašyčiau lietuviškai⁴. Tačiau apie visa pasikalbėsime Kaune. Gaila, kad nesitikiu atvažiuoti į dainų šventę⁵, o būsiu tikrai vėliau, mano vasaros atostogų metu...

Cion vėl labai sunkus gyvenimas; be to, Lietuvos oro, ir smilgų, ir tavęs drūčiai pasiilgau.

Tiek tuo tarpu...

Tavo širdingai

Jurgis.

P. S. Apie 10—11 turi būti kurjeris į Maskvą.

Papildomai datuojama pagal turinį.

¹ Turima galvoje „Naujo žodžio“ žurnalas, ėjęs Kaune 1926—1933 m.

² „Ars Sacrifica“—aukojamasis menas (lot.). Šiame straipsnyje Baltų šaitis iškelia meno reikšmingumą, kuris gimstąs per pasiaukojimą („aukš-

čiausias menas — menas auka“, teigia autorius). Straipsnio vertimas į lietuvių kalbą buvo paskelbtas „Vaire“ (1931, Nr. 3) antrašte „Ars sacrificans“ (pasiaukojantis menas).

³ Čia, tur būt, kalbama apie rusų rašytojo Viačeslavo Ivanovo (1866—1949) straipsnį „Jurgis Baltrušaitis kaip lyrinis poetas“, paskelbtą leidinio «Русская литература XX века» II tome (1914). Šis straipsnis vėliau buvo išverstas ir išspausdintas „Zidinyje“ (1932, Nr. 3). Baltrušaitis, matyt, pageidavo, kad straipsnis būtų įdėtas į būsimą jo poezijos rinkinį lietuvių kalba kaip įvadas. Bet poeto numatytas rinkinys dar ilgai nesirodė, dėl to greičiausiai ir buvo nutarta V. Ivanovo straipsnį paskelbti periodinėje spaudoje. Pirmajam Baltrušaičio lietuviškosios poezijos rinkiniui „Ašarų vainikas“ įvadinį straipsnį parašė B. Sruoga.

⁴ „Zidinyje“ išspausdintame V. Ivanovo straipsnyje poezijos citatos pateikiamos išverstos į lietuvių kalbą. Jų originalai rusų kalba pakartoti išnašose.

⁵ Laiške minima dainų šventė įvyko Kaune 1930 m. vasarą. Tai buvo III-oji respublikinio masto dainų šventė Lietuvoje.

2

Maskva, 1933 m. spalio 18 d.

18.X.33

Brangus mano broli,

Tik labai trumpai: laiminu tave ir didžiuojuos tavim už „Radvilą Perkūną“¹. Tikrai gera struktūra. Geras visas verpalas. Bet kas mane sujaudino ir pakėlė į padangę — tai dvi trys dainelės, kurios — be komplimentų — yra taip, kaip žvaigždės danguje. Valio, Sruoga! Taip aukštai dar nebuvai užlipęs. Bro-lau, tai yra tikriausia, gryniausia poezija. Dar viena: šios dainelės išdygo iš tavo naujo, labai jau laisvo, vidaus prityrimo.

Gyvenk ir rašyk tik taip, kaip tos dainelės. Visas veikalas turi, be to, ištisai kalbos auksinę vertę.

Todėl — Te Deum laudamus².

Sveikinu Tave ir Tavo Ponią. Dirbk ir užmiršk visa kita.

Tavo Jurgis.

P. S. Parašyk, kaip yra atjaučiamas universiteto auditorijos Jurgis.³ Kas atsitiko su Oleka?⁴ Rankraščių⁵ tavo grąžinsiu

greita sekančia proga ir su formaliais patarimais struktūros ir faktūros atžvilgiu.

Papildomai datuojama pagal turinį.

¹ Kalbama apie B. Sruogos 4 veiksmų muzikinę pjesę „Radvila Perkūnas“, kuri atskiru leidiniu pasirodė 1935 m. Pagal šią pjesę J. Karnavičius sukūrė to paties pavadinimo operą, kuri 1937 m. buvo pastatyta Valskybės teatre Kaune.

² Tave, dieve, garbiname (lot.).

³ Poeto sūnus Jurgis Baltrušaitis (g. 1903) 1933–1939 m. Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultete dėstė meno istoriją. Vėliau emigravo į Prancūziją, kur ir šiuo metu profesoriauja Sorbonos universitete.

⁴ Andrius Oleka-Zilinskas (1892–1948) — režisierius ir teatro pedagogas. Su Baltrušaičiu jis bendravo nuo Maskvos laikų, kai 1922–1929 m. gyveno Maskvoje ir dirbo Akademinio dailės teatro aktoriumi bei režisieriumi, taip pat Maskvos konservatorijos ir Didžiojo teatro operos studijos dėstytoju. Čia Baltrušaitis, matyt, teiraujasi, dėl kokių priežasčių A. Oleka-Zilinskas buvo atleistas iš Valstybės teatro direktoriaus pareigų.

⁵ Turima galvoje B. Sruogos muzikinės pjesės „Radvila Perkūnas“ rankraštis.

3

Paryžius, 1942 m. liepos 21 d.

21/VII 42

p. Baliui Sruogai

Brangus mano prieteli ir broli,

Šiandien galiu parašyti, tik labai mažai, nes už valandos ši proga jau neveiks. Neparašiau daugiau, nors svečias čia užtruko, todėl, kad stengiausi sutvarkyti mano naują rinkinį¹, kurį siunčiu p. Miškiniui², laukdamas, kad jis bus greit išleistas. Pasiskaityk, būsi patenkintas, nes jis smarkesnis ir pilnesnis už Ašarų abu Vainikus. Mat, aš, berods, galiu dar augti. Pulk į mano glėbį už straipsnį apie mano kūrybą³. Atsiųsk man patėmytų klaidų (kalbos ir kirčiavimo etc. atžvilgiu) sąrašą. Ypač ką patėmysi „Aukuro dūmuose“. Padaryk tai tuoj ir atiduok p. Miškiniui. Bet yra svarbesnis reikalas: jau du metai tam atgal tu man rašei, kad kažkas (nebeatmenu kas) nori varyti propagandą, kad būtų išstatyta mano kandidatūra Nobelio premijai gauti. Spausdinkit greičiau mano visus raštus ir kelkite

tą kandidatūrą, tai bus smarkus argumentas mūsų politikams <...>. Aš miniu apie tai ir p. Miškinuiui. Pasiskaityk mano rašytus puslapius, rašytus irgi skubomis. Visa kita bus perduota Tamstai žodžiu, kai grįš mūsų svečias, nes aš tikrai neturėjau laiko parašyti išsamiai ir tvarkingai. Spauskite ir mano honorarus, ir mano pensiją, kurios mažą pradžią esu gavęs, bet daugiau nebegaunu ir, matomai, negausiu <...>.

Parašyk man savo nuomonę apie „Žiurkės įkurtuves“ ir „Ašarų vainiko“ II-ąją dalį. Jei rasi klaidų „Aukuro dūmuose“, parašyk paštu, gal aš gausiu, tąsyk skubiai ištaisysiu. Gali ir pats šį tą ištaisyti, ir bendrai prižiūrėk dalyką, kai knygelė bus spaustuvėje. Be to, išspręsk su p. Miškiniu, ar galima prijungti prie „Aukuro dūmų“ tą tekstą, kurį aš maniau gal galima įtraukti kaip IV rinkinio skyrių.

Parašyk, kaip kas gyvuoja ir ką veikia? Kas su Vincu?⁴

Kaip tavo sveikata? Aš pirmąsyk mano gyvenime (visą kovo mėnesį) labai sunkiai sirgau ir vis dar ne per tvirtas. Be to, daug visokių trūkumų smaugia, o greit ir tikras skurdas atsisės ant sprando.

Atsiliepk greičiau!

Mano linkėjimai poniai.

Visa širdimi

Tavo

Jurgis.

P. S. Paskaityk „Aukuro dūmuose“ eilėraščių „Akordai“

(II skyrius, 17 pusl.). Jis buvo pradėtas šitaip:

Žlimba akys žemės ilgesy —
Sprogulėle, tu per greit gęsi.

Pasirodė, kad tik mes, skirsnemuniškiai, asmenuojame gęsų, gęsi, o iš tikrųjų reikia: gęstų, gęsti. Todėl aš ištaisiau, kaip seka:

Vargo akys žlimba taip anksti —
Sprogulėle, tu per greit gęsti.⁵

Ar kirtis taisyklingas? Jei ne, tai pakeisk žodį „gęsti“ žodžiu „nyksti“.

¹ Čia minimas Baltrušaičio lietuviškosios poezijos rinkinys „Aukuro dūmai“ 1944 m. buvo spausdinamas Kaune, bet dėl karo veiksmų spaustuvė to darbo negalėjo užbaigti.

² Poetas Antanas Miškinis anuo metu dirbo vienoje Kauno leidykloje redaktoriumi.

³ B. Sruogos straipsnis apie Baltrušaitį „Ašarų vainiko“ pirmojoje dalyje.

⁴ T. y. su Vincu Krėve.

⁵ Tos dvi eilutės rankraštyje buvo pataisytos taip, kaip Baltrušaitis pageidavo.

LAIŠKAI VINCUI KRĖVEI-MICKEVIČIUI

1

Maskva, 1934 m. gruodžio 22 d.

22/XII 34

Brangus Vincai,

Laukiau, kad parašysi, bet p. Bagdonas¹ nieko man iš tavęs neatvežė. Negaliu — nors kelis syk bandžiau — sužinoti, ar jūsų draugija² tarėsi su mano ministeriu³ dėl kultūros ryšių su šiuo kraštu ir dėl jūsų atvykimo Maskvon, kur jus labai sveikintų. Bijau, kad tai buvo tiktai pažadas.

Aš čia kuo toliau, tuo labiau apkrautas darbais ir turiu labai daug vargo⁴. Ačiū dievui, kad tai duoda šiek tiek vaisių, kurių jūs, tur būt, nematote ir man neužskaitote. Maniau, bus galima atvažiuoti Kaunan kalėdoms, bet tie patys vargai varžo ir riša. Gal aplankysiu jus apie sausio 10—15. Nežinau.

Naujienos, apie kurias rašei anąsyk, mane gerokai išgąsdino, bet vėliau nutariau, kad tai tušti įvykėliai be jokios pasekmės...

Jūsų kelionės reikalą vėl judinsiu⁵. Tik nežinia, kuomet jūs patys galėtumėt išsirengti dargi teigiamu reikalo atveju...

Skaičiau, kad tavo rinkinys išleistas⁶. Ką dar gero pridirbai?

Parašyk nors šį kartą. P. pulk. Skučas⁷, kuris veža šį laišką, mano keliauti atgal apie 5 sausio. Atmink, Naujiems metams užėjus.

Linkiu jums visiems gražių kalėdų ir stiprios sveikatos at-
einantiems metams.

Labų dienų Baliui⁸.

Tavo širdingai

Jurgis Baltrušaitis.

Papildomai datuojama pagal turinį.

¹ L. Bagdonas (1890—1941) — teisininkas, anuo metu dirbęs Lietuvos pasiuntinybėje Maskvoje sekretoriumi.

² Čia kalbama apie Lietuvių draugiją TSRS tautų kultūrai pažinti. Ji buvo įkurta Kaune 1929 m. V. Krėvė-Mickevičius — vienas draugijos kūrėjų, vėliau jos valdybos narys. Draugijos narių tarpe buvo įžymių rašytojų, menininkų, mokslininkų, kultūros veikėjų. Draugijos iniciatyva būdavo or-
ganizuojamos grupinės išvykos, sudaromos sąlygos atskiriems asmenims aplankyti Tarybų Sąjungą. Baltrušaitis čia ir rašo, matyt, apie mėginimą organizuoti Draugijos narių išvyką į Maskvą, kur, jo nuomone, atvykusieji būtų buvę labai palankiai sutikti. Baltrušaitis, kaip Lietuvos pasiunti-
nys Tarybų Sąjungoje, padėjo Draugijai palaikyti glaudžius kultūrinius kontaktus su Tarybų Sąjunga, jam tarpininkaujant, Maskvoje lankėsi V. Krė-
vė-Mickevičius, B. Sruoga ir kt.

³ Tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministru buvo S. Lozoraitis.

⁴ Turima galvoje Baltrušaičio atliekamas darbas Maskvoje, Lietuvos pasiuntinybėje.

⁵ T. y. kelionės į Maskvą.

⁶ Tur būt, kalbama apie V. Krėvės-Mickevičiaus parengtą lietuvių tau-
tosakos rinkinį „Dzūkų poringės“ (1934).

⁷ K. Skučas tuo metu buvo Lietuvos karo atašė Tarybų Sąjungoje.

⁸ Baliui Sruogai.

2

Maskva, 1936 m. rugsėjo 22 d.

22.IX.36

Brangus mano Vincai,

Sveikas gyvas! Neseniai matėmės, bet aš pasiilgau tavęs. Apie save nėr ko daug pasakyti: grįžęs turėjau — ir tebetu-
riu — daug smulkesnio ir stambesnio darbo: juk čia ta vienin-
telė vieta, kur dar galima priversti bent kiek susirūpinti ir
vargšės Lietuvos reikalais. Kad tik ir jos neprarastumėm!

Pasakyk p. Jablonskiui, kad aš greit telegrafuosiu dėl Met-
rikos fotografavimo¹. Manau, dalykas išsiriš taip, kaip buvome
kalbėję Kaune.

Labai prašau parašyti man kuo daugiausia, kaip vystėsi ir kaip šiandien atrodo dalykai, man tąsyk išvažiavus. Pasima-tyk su Barzda², ir lai jis irgi parašo. O laiškų — tavo ir jo — įteik Jurgiui³. Pasimatysime, tur būt, ne anksčiau lapkričio.

Daug daug sveikatos ir ramybės jums visiems.

Tavo *Jurgis*.

P. S. Priversk ir Sruogą parašyti. Lai ištiria, kaip stovi mano „akcijos“.

¹ Lietuvos metrika saugoma TSRS Centriniam valstybiniame senųjų aktų archyve. Čia kalbama apie istoriką Konstantiną Jablonskį, kuris, ma-tyt, darė žygių gauti leidimą Lietuvos metriką nufotografuoti, tačiau ligi II pasaulinio karo tas darbas nebuvo pradėtas.

² Laiško autorius Barzda čia greičiausiai yra pavadinęs savo jaunys-tės draugą S. Silingą (1885—1962), su kuriuo ir V. Krėvė artimai bend-ravo. Tuo metu S. Silingas buvo Valstybės Tarybos pirmininkas ir teisin-gumo ministras.

³ Baltrušaičio sūnui.

3

Hotel Straubinger, Bad Gastein
Austrija 2/VI 37

Austrija, 1937 m. birželio 2 d.

Brangus mano Vincai,

Štai aš jau nuo gegužės 15^{tos} vargstu šioje labai naudin-goje mano pašlijusiai sveikatai vietoje. 8 šio birželio baigiu gydymąsi ir turiu grįžti Maskvon. Grįždamas sustosiu (vienai dienai) Kaune, kur būsiu ar 10 vakare, ar 11 ryte. Man labai svarbu su tavim pasimatyti, todėl atidėk savo kelionę, jei kur rengiesi iki mūsų pasimatymo.

Aš čia labai labai pasitaisiau ir baigęs darbe tikiuos susi-laukti dar gilesnių gydymosi pasekmių. Šios vietos vanduo ir oras tikrai stebuklingi.

Labų dienų tavo poniai.

Tavo širdingai

Jurgis.

P. S. Jei negaila trijų-keturių litų, gal telegrafuotum, ar aš rasiu tave Kaune.

Maskva, 1939 m. sausio 7 d.

Maskva, 7.I.1939

Brangus mano Vincai,

Rašau tik trumpai ir tik kad palinkėti jums visiems sveikatos, ištvermės ir pasitikėjimo žmogaus gyvenimu šiais naujais metais.

Labai prašau, kad parašytumei man, o netylėtumei, kaip anąsyk, progai buvus.

Ar dar tęsiate savo literatūros leidinį?¹ Nes galėčiau greit atsiųsti žiupsnį kitą eilėraščių, tokios pat rūšies, kaip gal esi skaitęs neseniai „L. aide“². O gal ir dar geresnių. Apie tai, kad aš dabar ant žemės gerbiu tik kurmį ir bitę.

Bučiuoju daug. Rašyk.

Tavo Jurgis.

¹ Kalbama apie „Dienovidį“, kuris buvo leidžiamas Kaune (1938–1940). Kurį laiką jį redagavo V. Krėvė-Mickevičius.

² Baltrušaitis 1938.XII.31 „Lietuvos aide“ buvo išspausdinęs eilėraščių „Kūčių vidurnaktis“, kurį vėliau jis kiek poredagavo ir pavadino „Amžių žvaigždynas“.

Paryžius, 1940 m. gruodžio 25 d.

25.XII.1940

5 villa Virginie

Paris XIV

Gerbiamieji¹,

Siunčiu jūsų „Dienovidžiui“ tris mano eilėraščius ir mano naujos poemos pradžios fragmentą² su prašymu, jei galima, visa patalpinti viename numeryje.

Jei norite, aš galiu siuntinėti jums nuolat mano lyriką panašiais pluoštais, ypač poemos tąsą iki jos gal netolimo galo. Vien įspėju, kad poemos fragmentas sudaro jos menką — $\frac{1}{20}$ — dalį³.

Gyva pagarba

Jurgis Baltrušaitis.

P. S. Linkiu geros kloties visiems, kas mane žino ir pažįsta. Dirbdamas, kaip matote, išsijuosęs, raginu visus dirbti visų pajėgų įtempimu.

¹ Laiškas adresuotas V. Krėvei-Mickevičiui kaip tuometiniam „Dienovidžio“ redaktoriui.

² Tuo metu Baltrušaitis buvo atsiuntęs poemos „Dulkės ir žvaigždės“ pradžių, kurios III, V, VI, VII ir VIII poskyriai buvo išspausdinti „Raštuo-se“, 1941, Nr. 3.

1941 m. periodinėje spaudoje buvo paskelbti Baltrušaičio du eilėraš-čiai: „Didis įvykis“ („Genys“, 1941, Nr. 9) ir „Žiogų vakarienė“ („Žibu-rėlis“, 1941, Nr. 1). Galimas daiktas, kad, toliau nebeleidžiant „Dienovidžio“, šiame laiške minimi eilėraščiai buvo perduoti kitų periodinių leidinių re-dakcijoms.

³ Poemos Baltrušaitis parašė 12 poskyrių, kuriems davė bendrą paant-raštę „Poemos pratarmė“. Vadinasi, poetas buvo sumanęs rašyti didesnę kūrinį, bet to sumanymo nerealizavo.

NEĮGYVENDINTAS JURGIO BALTRUŠAIČIO SUMANYMAS

Parengė J. TUMELIS

Visiems jau seniai yra žinomas mūsų literatūros vertimų istorijos faktas, kad M. Gorkis buvo iškėlęs sumanymą parengti lietuvių literatūros rinkinį. Jį turėjo išleisti M. Gorkio vadovaujama ir A. Tichonovo administruojama knygų leidykla „Parus“ („Burė“) Petrograde. Si leidykla 1914—1917 m. išleido armėnų, latvių ir suomių literatūrų rinkinius, panašius rinkinius planavo leisti iš lietuvių, totorių, ukrainiečių ir žydų literatūrų.

Lietuvių literatūros rinkinys buvo pradėtas rengti 1915 m. pabaigoje¹ ir 1916 m. vasarą jau minimas artimiausiuose leidyklos planuose². Jame numatyta išspausdinti tautosakos ir kelių lietuvių rašytojų (pradedant K. Donelaičiu) kūrybos pavyzdžių. Juos išversti buvo kviečiamas A. Blokas, K. Balmontas, V. Briusovas, A. Remizovas, F. Sologubas, J. Verchovskis. Dalį tekstų turėjo išversti B. Sruoga, J. Baltrušaitis; juodu turėjo parašyti ir įvadinis straipsnis bei suredaguoti visą leidinį. Deja, dėl įvairių organizacinių nesklandumų karo ir revoliucijos sąlygomis rinkinys neišėjo³.

¹ Lietuviai pas M. Gorkį.—„Lietuvių balsas“, 1915, spalio 25, Nr. 13; Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Вып. 2, (1908—1916). М., 1958, p. 534.

² Зг. Книгоиздательство «Парус» А. Н. Тихонова. Петроград. — «Летопись» (Петроград), 1916, № 8 (август), p. 4 (virš.). — Šios reklamos pastraipoje „Ruošiama spaudai“ minimas lietuvių literatūros rinkinys, kurį redaguoja Baltrušaitis.

³ 1916 m. gegužės 14 d. Baltrušaitis laiške Viač. Ivanovui rašė, kad šis paspartintų vertimo darbą, primindamas, jog leidėjas grasina nutraukti rinkinio leidimą, o negavęs pusės medžiagos, nemokėsi honorarų bendradarbiams. (TSRS Valst. V. Lenino b-kos Rankraščių skyrius, f. 190, apl. 13, Nr. 34).—Plačiau apie šį rinkinį žr. B. Sruoga, M. Gorkis ir lietuvių literatūra (Atsiminimų žiupsnelis).—„Vilniaus balsas“, 1941, birželio 18, Nr. 140; Maksimas Gorkis ir lietuvių literatūra.—„Pergalė“, 1946, Nr. 3, p. 60—75; perspausdinta: Raštai, t. VI. V., 1957, p. 527—556; verti-

Apie 1915—1916 m. lietuvių literatūros vertimų rinkinį planavo išleisti ir Petrogrado leidykla „Ogni“ („Žiburiai“)⁴.

Tai ne vieninteliai neįgyvendinti tokie sumanymai. Iš žemiau skelbiamų dokumentų (TSRS Valst. V. Lenino b-kos Rankraščių skyrius, f. 261) aiškėja, kad 1916 m. dar vieną lietuvių literatūros rinkinį ketino parengti Baltrušaitis pats vienas. Rinkinį turėjo sudaryti K. Donelaičio „Metai“ ir rinktinės lietuvių liaudies dainos bei pasakos. Knygą žadėjo išleisti M. Sabašnikovo leidykla Maskvoje.

Šis rinkinys taip pat nepasiekė spaustuvės ir, matyt, ne tik dėl karo sąlygų. Galimas daiktas, kad darbas toliau projekto ir nepasistūmėjo. Kol kas iš tų metų jokių Baltrušaičio vertimų neužtikta. Tik 1935 m. jis išvertė 3 lietuvių poetų eilėraščius ir 18 liaudies dainų, kurios buvo išspausdintos V. Jonuškaitės-Zaunienės, tais metais koncertavusios Tarybų Sąjungoje, koncertų programoje⁵. Tikriausiai, Maskvoje žadėtas išleisti lietuvių literatūros rinkinys tebuvo projektas, panašus į gausius originalių Baltrušaičio kūrinių rinkinių projektus⁶.

Tenka prisiminti ir kai kuriuos kitus duomenis, betarpiškai liečiančius čia aiškinamus faktus.

K. Karsakas prisimena, kad 1943 m. Maskvoje, švenčiant 125-ąsias K. Donelaičio „Metų“ išleidimo metines, rašytojas L. Leonovas, kurs buvo vedęs Sabašnikovo dukterį, minėjęs Baltrušaičio atliktą „Metų“ vertimą, apie kurį, deja, nieko tiksliau sužinoti tuomet nepavykė.

T. Norus-Naruševičius ir J. Žilius nurodo, kad pirmojo pasaulinio karo metais Baltrušaitis ir Viač. Ivanovas bendradarbiavo, versdami K. Donelaičio „Pavasario linksmybes“⁷.

B. Sruoga savo atsiminimuose rašė: „Tas pats Ivanovas, tasai nepalyginamas hegzometro meisteris, buvo pasiėmęs versti ir Donelaitį. Gorkio rinkiny galėjo tilpti tiksliai dalis Donelaičio poemos, o Ivanovas į darbą taip įsitraukė, kad panorio versti visą poemą. Bežiūrint gavo jisai ir leidėją. Ją išleisti mielu noru apsiėmė garsioji Sabašnikovų leidykla, pasižymėjusi tikrai kultūringais pasaulinės literatūros veikalų leidiniais. Leidykla ir

mas: Максим Горький и литовская литература. — В альм.: Литва литературная. Год 1968. В., 1968, p. 149—164; K. Umbrasas. Gorkis ir lietuvių literatūra. — „Literatūra ir kalba“, t. I. V., 1956, p. 196—201; Горький и литовская литература. — Кн.: Горький и литература народов Советского Союза. Ереван, 1970, p. 248—257; A. Samulionis. B. Sruogos ryšiai su M. Gorkiu. — „Literatūra ir kalba“, t. X. V., 1969, p. 482—487.

⁴ B. Sruoga. Raštai, t. VI, p. 535, 547.

⁵ Zr. K. Karsakas. Jurgis Baltrušaitis — lietuvių poezijos vertėjas. — „Literatūra ir kalba“, t. X, p. 403—415.

⁶ Plg. Ю. Тумялис. Об авторе и книге. — Кн.: Ю. Балтрушайтис. Дерево в огне. В., 1969, p. 482.

⁷ T. Norus and J. Žilius. Lithuania's Case for Independence. Washington, 1918, p. 57.

Donelaičio leidiniui pareikalavo atitinkamų įvadų ir komentarų, kurie ir sutrukdė visą reikalą: nebuvo kam jie rašyti. Vertimą Ivanovas buvo jau beveik baigęs, bet įvadui ir komentaram jis medžiagos neturėjo⁸. Be to, „Lietuvos žinių“ redakcijos prieraše prie J. Tysliavos straipsnio, informavusio apie A. Kusikovo vertimą, nurodoma, kad „Duonelaičio „Metų laikus“ yra į rusų kalbą 1917 m. gražiai išvertęs Viačeslavas Ivanovič Ivanovas — tas pats, kuris „Apolone“ ir „Borozdy i meži“ rašė apie M. Čiurlionį. Vertimas dar nespausdintas ir randasi J. Baltrušaičio archyve“⁹.

Viač. Ivanovas yra išvertęs 201 K. Donelaičio „Metų“ eilutę¹⁰ ir 5 lietuvių liaudies dainas¹¹, bet tai buvo skirta M. Gorkio organizuotam rinkiniui. Niekas kitas, išskyrus „Lietuvos žinių“ redakcijos prierašą ir B. Sruogą, kiek žinoma, nemini Viač. Ivanovo atlikto „Metų“ vertimo M. Sabašnikovo leidyklai. Sunku pasakyti, kiek, pavyzdžiui, B. Sruogos žodžiuose yra tiesos ir kiek faktų kontaminacijos. Gal Baltrušaitis iš tikro atsisakė K. Donelaičio vertimo, perleisdamas jį Viač. Ivanovui? Deja, šiuo metu tegalima tokį klausimą kelti, bet ne į jį atsakyti. Reikia tikėtis, kad patikimesnių duomenų visų tuomet ruošusių verstinių lietuvių literatūros rinkinių istorijai atneš nuodugnesnės archyvinės paieškos.

1. J. BALTRUSAİČIO SUTARTIS-PASIZADĖJIMAS M. SABAŠNIKOVO LEIDYKLAI

«Литовский сборник» Балтрушайтиса.

Я, нижеподписавшийся, принял на себя перевод с литовского языка на русский язык избранных народных песен литовских, избранных народных литовских сказок и поэмы Данилайтиса [1] «Четыре времена года» для Книгоиздательства М. В. Сабашникова под фирмой К^{во} М. и С. Сабашниковых. Все эти вещи составят сборник объемом до 30 печатных листов, к которому я составляю вступительную статью, а также необходимые примечания. Труд мой [достанется] издательству с правом издательства выпускать его в свет в неограниченном количестве экземпляров и изданий. Гонорар мой со-

⁸ B. Sruoga. Raštai, VI, p. 549.

⁹ J. Tysliava. Aleksandras Kusikovas.—„Lietuvos žinios“, 1926, sausio 24, Nr. 19. Plg.: Trijų rusų sukaktuvės.—„Pradai ir žygiai“, 1926, Nr. 1, p. 30.

¹⁰ Žr. K. Donelaitis. Jau saulelė vėl... V., 1963, p. 54—56.

¹¹ Где девять сливается рек. Литовские народные песни в переводах русских поэтов. Составил Ю. Тумялис. В., 1973, p. 49—56.

ставит — сто рублей за лист статьи (до $2\frac{1}{2}$ листов), пятьдесят рублей за лист прозаического перевода и пятьдесят копеек со стиха стихотворного перевода. До 10 стихотворений я имею право помещать в каком либо журнале или собственном сборнике совместно с моими собственными стихами и все стихотворения дать в полном собрании моих сочинений. Авансом за счет гонорара я получил пятьсот рублей. Рукопись, законченная к печати целость, [должна?] быть передана издательству $\frac{2}{3}$ к 1 марта и $\frac{1}{3}$ к 15 марта с/г.¹

Юрий Казимирович Балтрушайтис

Vertimas

Baltrušaičio „Lietuviškas rinkinys“

Aš, žemiau pasirašęs, M. V. Sabašnikovo knygų leidyklai — M. ir V. Sabašnikovų firmai² apsiėmiau išversti iš lietuvių kalbos į rusų kalbą parinktas lietuvių liaudies dainas, parinktas lietuvių liaudies pasakas ir Donelaičio poemą „Keturi metų laikai“. Visa tai sudarys apie 30 spaudos lankų rinkinį, kuriam parašysiu įžangos žodį ir taipogi būtinus paaiškinimus. Mano darbas atiteks leidyklai su teise jį išleisti neribotu egzempliorių ir leidimų skaičiumi. Mano honorarą sudarys — šimtas rublių už straipsnio lanką (ligi $2\frac{1}{2}$ lanko), penkiasdešimt rublių už prozos vertimo lanką ir penkiasdešimt kapeikų už poezijos vertimo eilutę. Ligi 10 eilėraščių aš turiu teisę spausdinti bet kuriame žurnale ar savo rinkinyje kartu su originaliais eilėraščiais, o visus eilėraščius — pilname savo raštų rinkinyje. Avanso honoraro sąskaita gavau penkis šimtus rublių. Galutinai spaudai paruoštas rankraštis leidyklai bus įteikiamas taip: $\frac{2}{3}$ — ligi kovo 1 d. ir $\frac{1}{3}$ — ligi kovo 15 d.

Jurgis Kazimirovičius Baltrušaitis

¹ Sutartis-pasižadėjimas be datos. Iš viso ko galima spręsti, kad ji buvo sudaryta Maskvoje 1916 m. pradžioje. Tekstas rašytas ne Baltrušaičio ranka, tik jo pasirašytas.

Brolių Michailo (1871—1943) ir Sergejaus (1873—1909) Sabašnikovų leidykla veikė 1891—1934 m. Maskvoje ir išleido apie 400 knygų. Nors nuo 1909 m. leidyklą valdė vienas M. Sabašnikovas, tačiau iš pagarbos mirusiam broliui ligi 1930 m. jo vardas figūravo leidyklos pavadinime (M. ir S. Sabašnikovų leidykla). Žr. A. Л. Лапина. Архив издательства М. и С. Сабашниковых. — «Записки Отдела рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина». Вып. 33. М., 1972, p. 81—139.

2. J. BALTRUŠAIČIO LAISKAS M. SABASNIKOVUI

[Москва], 20 сент. 1916 г.

Глубокоуважаемый Михаил Васильевич,

Вчера освободился поздно, а сегодня пришлось рано пойти по делу. Вы звонили вчера, вероятно, по поводу Литовского Сборника в виду моего продолжительного промедления... Беда в том, что почти все мое лето пропало для работы, так как я дважды был болен, притом довольно серьезно. Кроме того, назначая сроки, я не вполне предвидел могущие оказаться задержки, или вернее, даже не мог предвидеть их. Те списки литовских песен, какие мне удалось достать в начале работы, оказались полными ненадежных вариантов, а на поиски таких книг, как сборники Резы, Вассельмана [!], ушло слишком много времени. Все это — заграничные издания, оказавшиеся в единственном экземпляре только в библиотеке нашей Академии Наук, откуда мне выдали их с очень большим трудом. Совершенно неожиданным оказалось и отсутствие сборников песен с установлением их давности, так как работы проф. Микколлы, Вольтера и ван Гальды, с которыми я завел непосредственную переписку, оказались при ближайшем ознакомлении гадательными. В конце концов, устанавливать древность огромного числа песен по периодам приходится мне самому, а это — работа крайне ответственная, кропотливая и производится мною в своей области впервые. В виду всего этого я лишь к концу лета мог установить и надежные варианты, и хронологию песен, без чего самый перевод мог носить только подготовительный характер...

Я вполне понимаю Ваши возможные упреки, но усердно прошу Вас войти и в мое положение. В настоящее время —

и на этот раз с большей определенностью — я могу обещать представить 100 песен к 15 октября, а остальные 100 непременно к октябрю. Так как приготовление Сборника является моей единственной работой, я полагаю, что набор мог бы начаться с представлением мною первых 100 песен (5—5 $\frac{1}{2}$ листов), причем я мог бы поручиться, что задержки материала, для непрерывности работы, не будет.

Если этих моих объяснений недостаточно, прошу позволить мне сегодня от 6—8 ч. веч. В это же время я мог бы заехать к Вам.

Еще раз очень прошу Вас войти в мое положение и не слишком упрекать меня, так как я отлично сознаю злободневность самой работы и огромное значение своевременного выхода книги для нас, литовцев.

Душевно преданный Вам

Ю. Балтрушайтис

Vertimas

[Maskva], 1916 m. rugsėjo 20 d.

Didžiai gerbiamas Michailai Vasiljevičiau,

Vakar vėlai baigiau darbus, o šiandien irgi anksti reikėjo išeiti su reikalais. Vakar Jūs skambinote, tikriausiai, dėl „Lietuviškojo rinkinio“, kadangi aš labai vėluoju... Kliūtis ta, kad beveik visą vasarą nedirbau, nes net du kartus ir, pasakysiu, labai rimtai sirgau. Be to, nurodydamas terminus, aš nenumačiau galimų kliūčių, o tiksliau, netgi negalėjau jų numatyti. Tie lietuviškų dainų nuorašai, kuriuos man pasisekė gauti darbo pradžioje, pasirodė pilni nepatikimų variantų, o surasti tokias knygas, kaip Rėzos¹, Vaselmano [Neselmano]² rinkiniai, prireikė daug laiko. Tai užsienio leidiniai, kurių vieninteliai egzemplioriai tėra mūsų Mokslų akademijos bibliotekoje, iš kur tik su dideliu vargu gavau juos pasiskolinti. Man visiškai netikėta buvo ir tai, kad, kaip pasirodė, nėra rinkinių, kur būtų nurodytas dainų senumas, o prof. Mikolos³, Volterio⁴ ir van Galdos⁵, su kuriais aš ėmiau betarpiškai susirašinėti, darbai, arčiau su jais susipažinus, pasirodė tik spėliojimai. Galų gale nustatyti didelio dainų skaičiaus senumą pagal periodus tenka man pa-

čiam, tai — labai atsakingas, kruopštus darbas, ir aš jį šioje srityje dirbu pirmą kartą. Dėl to tik vasaros pabaigoje galėjau nustatyti tiek patikimus dainų variantus, tiek jų chronologiją, be ko bet koks vertimas galėjo būti tiktai paruošiamojo pobūdžio.

Labai gerai suprantu galimus Jūsų priekaištus, tačiau nuoširdžiai prašau Jus suprasti ir mano padėtį. Dabar — šįkart kur kas tikriau galiu pažadėti — 100 dainų įteiksiu spalio 15, o 100 likusių — būtinai iki spalio [=lapkričio?]. Kadangi Rinkinio parengimas šiuo metu tėra vienintelis mano darbas, manau, kad rinkimą galima pradėti, man pateikus 100 dainų vertimą ($5-5\frac{1}{2}$ lanko) ir įsipareigojus neuždelsti, kad nebūtų sutrukdytas nuoseklus darbas.

Jeigu šių mano paaiškinimų nepakanka, prašau man paskambinti šiandien 6—8 val. vakare. Tuo metu aš galėčiau ir pats užvažiuoti pas Jus.

Dar kartą labai Jus prašau suprasti mano padėtį ir ypatinai nepriekaištauti, kadangi aš puikiai suvokiu, kad pats darbas reikalingas būtent šiuo metu ir laiku išėjusi knyga turės didžiulės reikšmės mums, lietuviams.

Nuoširdžiai Jums atsidavęs

J. Baltrušaitis

¹ Lietuvių rašytojas, biblistas, vertėjas, K. Donelaičio raštų leidėjas L. Rėza (1776—1840) išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį „Dainos, oder Litthauische Volkslieder, gesammelt, übersetzt und mit gegenüberstehendem Urtext hrsg. v. L. J. Rhesa“ (Königsberg, 1825); Neue Auflage. Durchges. berichtigt u. verb. v. F. Kurschat. (Berlin, 1843).

² Vokiečių filologas, orientalistas ir baltistas G.H.F. Neselmannas (Nesselmann, 1811—1881) paruošė du lietuvių liaudies dainų rinkinius: „Littauische Volkslieder, gesammelt, kritisch bearbeitet und metrisch übersetzt (Berlin, 1853; 410 dainų su vokiškais vertimais) ir „Dainos. Littauische Volkslieder“ (Berlin, 1853; 144 dainų vertimai).

³ Suomių kalbininkas Josepis Mikola (Mikkola, 1866—1946). Nežinia kokius folkloristinius jo darbus Baltrušaitis turi omenyje. Plg. V. Biržišką. Lietuviškųjų dainų literatūros bibliografija.—„Mūsų tautosaka“, kn. 3, 1931, p. 187—229.

⁴ Eduardas Volteris (Wolter, Вольтер, 1856—1941) — latvių kilmės kalbininkas, baltistas ir slavistas, istorikas, folkloristas. Zr. I. Kisinas. Prof. E. A. Volterio bibliografija.—„Tauta ir žodis“, t. 5, 1928, p. 361—385.

⁵ Gaida, van — ?!

ATSIMINIMAI

Cia spausdinamus atsiminimus apie Jurgį Baltrušaitį parašė asmenys, kuriems su poetu teko arba kartu dirbti, arba artimiau bendrauti, susitikti. Kad ir negausūs šie atsiminimai, jie vis dėlto vienu kitu aspektu papildo kai kuriuos poeto asmenybės bruožus, nušviečia jo ryšius su lietuvių kultūra ir literatūra. Atsiminimuose greta tikroviškų faktų yra ir asmeninio pobūdžio samprotavimų bei išvedžiojimų, kai kurių pasikartojimų bei skirtybių.

Atsiminimai iš rankraščių publikuojami pirmą kartą. Rengiant spaudai, jie buvo šiek tiek redaguoti, sunorminant rašybą ir skyrybą, vienur kitur palyginant stilistiškai. Kai kurie autoriai (N. Bruni-Balmont, A. Kakarėnas) parašė platesnius atsiminimus, kuriuose yra ir su Baltrušaičiu nesusijusios medžiagos. Iš tokių atsiminimų paimti tik tie fragmentai, kurie tiesiogiai liečia poetą. Atsiminimai sudėti chronologine seka. Jų originalai laikomi Lietuvių kalbos ir literatūros instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyne (F 4—1). Daugumą jų surinko Marija Grigaitytė. Reikia manyti, kad tebėra ir daugiau žmonių, pažinojusių Baltrušaitį, tad ateityje dar lauktina naujų atsiminimų.

Anksčiau spaudoje skelbti atsiminimai čia nekartojami. Iš jų paminėtini: S. Kara-Murzos („Kultūra“, 1934, Nr. 10), Dž. Papinio („Židiny“, 1939, Nr. 11), B. Zaicevo („Kūryba“, 1944, Nr. 2), V. Lidino („Pergalė“, 1963, Nr. 9), B. Strigavičiaus („Gimtas kraštas“, 1968.III.28), M. Kaunaitės („Pergalė“, 1971, Nr. 3). Dar galima nurodyti B. Sruogos straipsnį „Gorkis ir lietuvių literatūra“ („Pergalė“, 1946, Nr. 3), kuriame aprašomi jo susitikimai su Baltrušaičiu Maskvoje, taip pat V. Daujotytės su A. Simulynu surinktą memuarinę medžiagą apie poeto tėviškę ir artimuosius („Kultūros barai“, 1971, Nr. 9).

Apie Baltrušaitį yra rašę ir jo amžininkai rusų rašytojai bei menininkai savo knygose ir straipsniuose: A. Белый. Начало века. М.—Л., 1933; Между двух революций. Л., 1934; И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. 1—2. М., 1961; В. Каверин. Косой дождь. М., 1963; А. Конон. Страницы из жизни. — «Театр», 1966, № 2, 4, 7, 11; 1967, № 1, 3, 6, 9; 1968, № 1.

* * *

Юргиса Балтрушайтиса я помню с тех пор, как помню себя. Для меня он всегда *был*, всегда присутствовал в моей жизни, как и мой отец — Бальмонт. Отец мой, как и Юргис,

то был с нами, то не был с нами (уезжал в другой город, в далекое путешествие)... В этом последнем случае, он все равно присутствовал, упоминаемый часто в разговорах взрослых. С детства помню, что моя мать часто цитировала строки стихов Юргиса. Я никогда не забывала, что Юргис — есть, что он сейчас где-то живет... пишет стихи. Его появление и уход (похожий на исчезновение) были всегда неприметны. Помню, как он и Бальмонт повели нас (меня и девочек Полиевктовых, живших с нами — младшая Аня, впоследствии стала женой брата моего мужа, Николая Бруни) на выставку Чюрлениса. Это было в Москве, мы жили тогда в доме моей бабушки, Натальи Михайловны Андреевой, Брюсовский переулок, д. 19 (дом цел, переулок переименован в улицу Неждановой). Вероятно это был 1910—1911-й год. Но на выставке я не помню никого и ничего — ни людей, ни разговоров — только одного Чюрлениса. И как все воспоминания детства, его картины остались частью этого детства, его атмосферой, средой, в которой живешь, которая внутри тебя и вне тебя...

В 1915 году наша семья проводила лето (в третий раз) в Ладыжине — в имении маркизы Марии Львовны Кампанари, в четырех верстах от Таруссы. Балтрушайтисы снимали дачу на окраине Таруссы — небольшой двухэтажный дом в тенистом, заросшем саду; деревья — помнится, часто посаженные липы — загораживали свет, в комнате было мало солнца... Я часто бывала у них.

Иногда Балтрушайтисы приезжали в Ладыжино на тележке с возчиком; помню его фамилию — Березкин, его необыкновенную внешность: он был небольшого роста, мохнатый, как лесовик; маленькие его голубые глаза сверкали из-под седых нависших бровей, из носа и ушей торчали густые пучки седых волос...

Но чаще Юргис приходил в Ладыжино один, еще до утренней зари; он бросал камешки в окно Бальмонта — его

комната была на втором этаже — и они оба быстро уходили в лес — или на Оку — встречать восход солнца. В десятом часу они возвращались, оба в светло-серых костюмах, по колена вымокшие в росе (от чего ткань темнела) и в совершенно мокрой обуви... Они быстро шли через цветник — наискосок, с несколько виноватым видом, но очень довольные, поднимались на террасу, где вся наша семья уже кончала утреннее чаепитие. Моя мать неизменно убеждала Юргиса переодеться, он неизменно отказывался, уверяя, что пока он дойдет до Таруссы — все на нем высохнет. Выпивал стакан чая и незаметно уходил; я не помню, чтобы с ним прощались, провожали его... Просто вот только что был... и нет его.

Перед отъездом Балтрушайтисов во Францию, я часто бывала у них, помогала Марии Ивановне разбирать вещи, укладывать их, исполняла разные ее поручения. Обычно мы сидели у нее в комнате, среди разбросанных вещей. Она рассказывала мне много о моей сестре Мирре, о ее детях, о ее неприспособленности к жизни... Говорили о старых временах, но всегда разговор возвращался к Жоржику, к внуку Ванечке; Мария Ивановна показывала бесчисленные фотографии внука, радовалась предстоящему свиданию с ним. Но Юргис не радовался. Он был очень занят в те дни, часто отсутствовал... Иногда приходил на несколько минут в комнату, где мы сидели... постоит молча и уйдет. Иногда приходил в столовую, выпивал чашку кофе и снова уходил. У него был грустный и озабоченный вид, и все реже я видела улыбку, которая, бывало, пряталась под его усами, отражаясь в глазах. Он был печален.

Незадолго до отъезда, Балтрушайтисы пригласили меня и Бруни на обед. Юргис был в темном костюме, какой-то торжественный, но отсутствующий. Мария Ивановна расспрашивала моего мужа о его работе (он тогда был руководителем мастерской монументальной живописи и с увлечением работал в области фрески, только что расписал Центральный дом пионеров на ул. Степани). К концу обеда внесли под-

ставку из черного дерева с подвешанной к ней стеклянной колбой с черным кофе; под колбой горел голубой огонек спиртовки. Затем появился на толстой деревянной доске огромный литовский сыр... и тут Юргис оживился: встал, достал из буфета какое-то великолепное старое вино, взял нож и сказал Марии Ивановне: «Этот сыр я буду резать сам». И, обращаясь к нам: «Это настоящий литовский сыр. Он очень много лет пролежал в земле... Сейчас вы его попробуете»... Юргис священнодействовал... Он оделил нас небольшими кусочками, разлил вино в небольшие рюмки темнозеленого стекла. Но я не оценила литовского сыра... по правде говоря, мне показалось, что я положила в рот кусочек штукатурки. Я взглянула на мужа — выражение его лица было недоуменным. Мария Ивановна посмеивалась (она сыра не ела). А Юргис просветлел и явно повеселел, а может быть, дело было в прекрасном, густом, ароматном вине, которое мне помогло проглотить прославленный сыр. Покурив в молчании, мы стали прощаться. На сердце было тяжело. Юргис, пожав руку моему мужу, крепко обнял меня, поцеловал... и я почувствовала на своем лице его слезы. Он резко повернулся и ушел. Но через минуту вышел из своей комнаты в переднюю с большой, длинной коробкой, обтянутой шелком, и протянул, вернее, сунул ее в руки моему мужу, коротко, почти сердито сказав: «Это — вам». И опять скрылся у себя. В коробке оказалось очень много галстуков разнообразного цвета, которые моему мужу очень понравились, несмотря на его — в этом деле — очень требовательный вкус. «Юргисовы галстуки» долго бытовали в нашем доме...

После смерти племянницы моей матери Ньюши (Анны Николаевны Ивановой) в 1940 году прекратилась наша связь с Францией. И ни о Поэте (как называла Ньюша Бальмонта), ни о нашем «суровом друге» больше мы ничего не знали. В июле 1943 года до нас дошла открытка (она шла 7 месяцев из Лендека через Норвегию), извещавшая нас о смерти Бальмонта (23 декабря 1942 года). Позже мне написала жена Бориса Зайцева, Вера Алексеевна: ...«Когда-нибудь я напишу тебе, как я пробралась в Нуази-ле-Гран и видела твоего отца, как я

возвращалась пешком ночью в Париж (более 20 км. — *Н.Б.*), мучая от голода, холода и беспросветного отчаяния... Как мы на другой день получили телеграмму от Елены «Поэт ушел». И как мы хоронили его с Юргисом, Марией Ивановной и Борюшкой... Но Вера Зайцева больше мне не писала. Позже она написала моей матери, что они — Зайцевы — и Балтрушайтисы — поставили на могиле Бальмонта памятник — большой каменный крест с высеченными на нем словами „Constantin Balmont. Poete russe“ (Константин Бальмонт. Русский поэт).

Когда я ездила во Францию в 1968 году, я была в семье Якимовых, жителей Нуази, которые много помогали Бальмонту и его семье, постоянно виделись с ним, были ему чрезвычайно преданы.

При свидании Якимовы рассказали мне очень многое, и, в частности, рассказали о похоронах Бальмонта. После похорон они устроили у себя поминки, на которые пришли с кладбища Борис Зайцев с женой, Балтрушайтис с женой и еще два-три человека. Был день рождения пятилетней дочери Якимовых, и все гости написали ей на память об этом дне несколько слов на подаренной ей книге. Мирра опоздала на похороны и, придя (тоже с опозданием) на поминки, стала звать всех к себе, что, конечно, внесло некоторый разлад... Тогда Юргис предложил такое решение: он с Марией Ивановной поедет к Мирре, а Зайцевы останутся у Якимовых. Споры утихли, все успокоилось. Милый, верный «наш суровый друг!». Он всегда умел прекратить разлад, его спокойная доброжелательность, его глубокая человечность подчиняли ему сердца... Борис Зайцев написал несколько страниц о Юргисе и Марии Ивановне. Называется это «О любви». В этой короткой повести очень хорошо отражена та атмосфера, светившая Юргису и его жене, которая сохраняется в памяти сердца всех тех, кто их знал и любил.

Вильнюс, 18.III.1972

Н. К. Бруни-Бальмонт

Su Jurgiu Baltrušaičiu pirmą sykį susipažinau 1910 m. Maskvos universitete, kai jis, T. Naruševičiaus raginamas, pradėjo lankytis Lietuvių studentų šelpimo draugijoje, kuri tuo metu buvo įsikūrusi Miliutino gatvėje, prie šv. Kotrynos soboro. Draugijos susirinkimuose jis tyliai sėdėdavo, nedalyvavo ginčuose ar pokalbiuose. Žinodamas, kad Baltrušaitis jau pagarsėjęs poetas, jį skatinau rašyti lietuvių kalba „Aušrinei“, kurią redagavau. Rašyti „Aušrinei“ jį ragino ir su juo artimai bendravę studentai Stasys Šilingas, Romas Bytautas, Tomas Naruševičius, bet nieko iš tų raginimų neišėjo. Vakaruose, kurie būdavo rengiami lietuvių studentų šelpimo labui, Baltrušaitis skaitydavo eilėraščius rusų kalba (į tuos vakarus daugiausia rinkdavosi rusų publika). Artimiau bendrauti su Baltrušaičiu tuo laikotarpiu man neteko.

Antrą sykį susitikome 1920 m., kai kartu su lietuvių delegacija atvykau į Maskvą dalyvauti derybose dėl taikos sutarties. Maskvoje buvome apsistoję „Kniažij dvor“ viešbutyje, kuriame teko pagyventi pusantro ar du mėnesius. Baltrušaitis ateidavo pas mus į viešbutį. Mes jam pasakodavome apie derybų eigą, teiraudavomės jo apie Maskvos gyvenimą. Klausiamas mielai atsakydavo, nors pats nieko nepasakodavo ir, kaip visada, buvo tarsi vaikščiojanti mįslė.

Baltrušaičiai gyveno netoli Suchariovo bokšto. Ten jie turėjo nuosavus, gražiai ir turtingai įrengtus namus. Marija Ivanovna Baltrušaitienė buvo rusė, lietuviškai nemokėjo. Baltrušaitis inteligentų tarpe buvo žinomas, savas žmogus. (Viename oficialiame priėmime 1938 m. Prancūzijos ambasadorius Coulondre mums pasakojo: „Mes visi esame ambasadoriai, bet nieko čia nežinom. Vienintelis žmogus, kuris mums ką pasako — tai Baltrušaitis. Žinoma, tik reikia paklausti: šiaip iš jo nieko neišgirsi.“) Baltrušaitis buvo vienintelis, kuris galėjo supažindinti atvykusius į Maskvą užsieniečius su žymesniais to meto rašytojais ir veikėjais, kurių daugumą pats gerai pažinojo.

Tuo metu Baltrušaitis atrodė labai prislėgtas ir smarkiai gėrė, labai greitai apsvaigdamas. Jis darė gana liūdną įspūdį.

Kai užeidavo pas mus į „Kniažij dvor“, iš pradžių jį vaišindavome, ir, gal būt, tai buvo viena jo dažno lankymosi priežasčių. Po to, kai kelis kartus apsvaigo, pradėjome stačiai slėpti nuo jo gėrimus. Alkoholis gerokai pakirto jo sveikatą. Tik vėliau žmonos pastangų dėka jis pamažu atprato gerti.

Baltrušaitis buvo tylus, užduras žmogus, ir tas uždarumas lyg siena skyrė, tolino jį nuo visų aplinkinių. Savo minčių, ketinimų, pažiūrų niekam nepasakodavo — dažniausiai tik įprastais, kasdieniniais klausimais pasakys kokį žodelį, ir viskas. Kai po taikos derybų jis buvo paskirtas Lietuvos atstovu Maskvoje, iš jo nelengva buvo išgauti informaciją apie pasiuntinybės darbą. Dirbo ir tylėjo. Vyriausybė įpareigojo jį rašyti į Kauną raportus, bet iš tų raportų maža naudos tebuvo: trumpučiai, vos kelių sakinių. Tačiau bendrauti su žmonėmis Baltrušaitis nevengė, visiems buvo atidus, draugiškas, todėl turėjo nemaža bičiulių bei pažįstamų. Savotiška buvo jo veido išraiška, kuri jį, netgi tylintį, darė patrauklų, artimą. Jo trumpos pastabos visada būdavo taiklios, sąmojingos.

Nors savo sielvartais Baltrušaitis su niekuo nesidalino, visi jautėme, kad jis tragiškai pergyvena nutolimą nuo Lietuvos. Jo ryšiai su gimtuoju kraštu buvo nutrūkę dar jaunystėje: prieš pirmąjį pasaulinį karą jame nesilankydavo, tėvai buvo mirę, giminės jį pamiršę. Tačiau poetas nuolat jautė graužatį, kad, būdamas lietuvis, nedalyvauja savo tautos literatūroje. Susitikęs su lietuviais, dėl to varžydavosi ir dar labiau užsisklėsdavo. O su lietuviais bendrauti teko dažnai, ypač karo metu ir po karo. Visa tai jį smarkiai slėgė ir, matyt, buvo svarbiausia priežastis, pastūmėjusi į gėrimą.

Po karo, tapęs Lietuvos atstovu, Baltrušaitis iš visų pusių girdėjo akinimus: kodėl jis, lietuvis, terašo rusiškai? Jo jaunystės draugai Naruševičius su Šilingu kiekviena proga jam kalė: argi, būdamas toks poetas Rusijoje, negali būti poetas savame krašte? Baltrušaitis tylėdavo neatsikalbinėdamas, ilgai tylėjo ir svyravo, kol pagaliau ryžosi. „Kol aš nerašiau lietuviškai,— sakė jis,— maniau, kad esu pamiršęs lietuvių kalbą. Pradėjęs rašyti, prisiminiau visus savo vaikystės žodžius“. Ir

iš tikrųjų Baltrušaičio lietuviškuose eilėraščiuose daug gražių, senoviškų žodžių, matyt, atsineštų iš gimtojo sodžiaus tarmės.

Po 1920 m. ilgą laiką su Baltrušaičiu retai tesimatydavome — jis gyveno Maskvoje, aš Paryžiuje, ir susidurdavome tik atvažiavę į Kauną. Kaune Baltrušaitį visi apspisdavo, norėdami ką nors sužinoti apie „Maskvos mįslę“, bet pasakodavo jis mažai. Kartą, ruošiantis skristi į Maskvą, aerodrome užvesto lėktuvo propeleris smogė gretimai stovinčiam jo sūnui į veidą ir beveik nukirto nosį. Tik chirurgo V. Kuzmos meistriškumo dėka pavyko veidą sugydyti. Baltrušaitis dėl to įvykio labai pergyveno, nors, praėjus keleriems metams, iš sužeidimo teliko ne iš karto pastebimas randas. Kai 1938 m. atvykau į Maskvą, Baltrušaitis visą savaitę buvo mano gidas: kartu eidavome pietauti pas Potiomkiną, darėm vizitus, lankėme teatrus ir koncertus, į kuriuos jis visada gaudavo norimus bilietus.

1939 m. Baltrušaitis, išėjęs į pensiją, apsigyveno su žmona ir sūnumi Paryžiuje, nedideliame butelyje. Nuo tada mes matydavomės dažnai: aš ateidavau pas juos, jis su žmona aplankydavo mane pasiuntinybėje. Tačiau ir Paryžiuje susitikinėdami, dažniausiai šnekėdavomės tik apie kasdieninius reikalus. Kalbėdavo daugiausia Baltrušaitienė, o jis, kaip paprastai, sėdėdavo susikaupęs, tylus ir mažai dalyvaudavo kalboje. Gaudamas nedidelę pensiją, poetas Paryžiuje gyveno kukliai, bet buitinių sunkumų neturėjo, nes iš Rusijos buvo atsivežęs nemaža sutaupyto turto. Tas turtas buvo deponuotas Londono banke ir jo, pasak Baltrušaitienės, jiems turėję pakakti visam gyvenimui.

Kai prie Paryžiaus priartėjo vokiečiai ir visas diplomatinis korpusas traukėsi į Bordeaux, Baltrušaitis irgi apsigyveno mažame miestelyje prie Bordeaux. Čia taip pat susitikdavome. Tuo metu jis rašė lietuvių kalba tragediją, kuriai skyrė daug dėmesio. Vėliau grįžo į Paryžių ir ten mirė.

Daug žinių apie Baltrušaitį galėtų suteikti jo sūnus, šiuo metu dėstantis Sorbonos universitete. Galimas daiktas, jis išsaugojo ir tėvo rašytos, o gal ir užbaigtos lietuviškos tragedijos rankraščius.

Buvo 1910/11 mokslo metai. Mokiausi Panevėžio realinėje mokykloje, kur dėstomoji kalba buvo rusų, ir visi mokytojai, išskyrus kapelioną,— rusai. Lietuviai mokiniai buvome apimti kylančios krašte tautinio atgimimo dvasios. Ir šit vieno „Aušrinės“ straipsnio epigrafu eina ketureilis rusų kalba su parašu po juo rusiškomis raidėmis „Jurgis Baltrušaitis“. Mes, ketvirtokai, karštai susidomėjome poeto asmeniu ir nuliūdome, sužinoję, kad tai tikras lietuvis, rašantis rusų kalba. Ypač kad patys kasdien kentėme lietuviško žodžio ir rašto badą. Žinia, tokio amžiaus žmonės nėra linkę gilintis į vadinamąsias objektyvias reiškinių priežastis.

1915 metai. Nominaliai esu evakuoto į Maskvą Rygos Politechnikos instituto studentas, o iš tikrųjų dirbu apmokamą darbą Lietuvių komitete nukentėjusiems nuo karo šelpti, įsikūrusiame Sretenkos gatvėje, bene 26 nr., dviejuose buvusios parduotuvės kambariuose. Pirmame, didesniame, sėdime keturi: Komiteto sekretorius Pijus Mičiulis (rašytojas) ir trys pagalbiniai darbuotojai. Mūsų kambaryje nuolat pulkuodavosi pagalbos ieškantys tremtiniai ir pabėgėliai. Šalutiniame, mažesniame kambaryje sėdi Komiteto pirmininkas advokatas Petras Leonas. Kas norėjo jį matyti, turėjo pereiti per mūsų kambarį. Ir šit retkarčiais atsidaro durys ir į kambarį įeina aukštas, tiesus, tamsiu žiemišku apsiaustu (buvo žiema) žmogus. Kailinė apikaklė ir tokia pat apvali kepurė. Įeina ir tiesiai, nesidairydamas žengia į pirmininko kambarį. Tai Komiteto vicepirmininkas poetas Baltrušaitis.

Komitetui tekdavo įvairiais reikalais susirašinėti su valdžios įstaigomis. Atsimenu vieną raštą, šitaip lygia rašysena be trumpinimų ir užraitų jo pasirašyta: «Отставной подпоручикъ Юрій Казимировичъ Балтрушайтисъ».

Podporučikas carinėje Rusijoje buvo pirmasis karininko laipsnis. Tą laipsnį poetas, matyt, buvo gavęs, kai, baigęs aukštąjį mokslą, turėjo atlikti karo prievolę.

1922—1927 metai. Dirbu Berlyne Lietuvos pasiuntinybės konsulinio skyriaus vedėju. Girdžiu, jog retkarčiais pro Berlyną į Paryžių ar į Londoną pravažiuoja poetas Baltrušaitis, atstovavęs tuo metu Lietuvai Maskvoje. Pravažiuodamas neaplenkdavo Pasiuntinybės Kurfuerstendam gatvėje, netoli Zoologijos sodo, arba Zoo, kaip berlyniečiai tą sodą trumpai vadino. Konsulinio skyriaus patalpos buvo kieme, atšakiai nuo didžiųjų takų, ir man retai kada tekdavo susitikti su įžymiais Pasiuntinybės lankytojais. Ir vis dėlto teko, ir, tur būt, ne kartą susitikti su Baltrušaičiu. Bet ryškiau atmintyje liko tik vienas kartas. Aiškumo dėlei turiu prisipažinti, jog iš pat jaunų dienų linkau į literatūrą ir net puoselėjau mintį pačiam toje srityje reikštis. Ir šit kartą pasisakau Baltrušaičiui norįs bandyti versti jo poeziją į lietuvių kalbą. Retrospektyviai į tą pokalbį žiūrėdamas, stebiuosi, kaip palankiai ir maloniai mano sumanymą sutiko Baltrušaitis. Jis net patikėjo man savo dailią, odiniais minkštais viršeliais užrašų knygutę, kurioje buvo jo ranka surašyti naujo rinkinio «Лилия и Сепн» eilėraščiai. Nusipirkau kiek galint panašesnę knygutę, persirašiau visą rinkinį ir originalą grąžinau poetui — nors tiek neapvyliau jo... Perrašinėdamas taikiau, matyt, kiek ir į poeto braižą, nes kai kas iš vėlesnių tyrinėtojų palaikė mano knygutę originalia. Manoji, likimo viesulams siaučiant, laimingu būdu pakliuvo į saugią vietą — Respublikinės bibliotekos rankraščių skyrių.

Buvo dar ir toks atsitikimas Berlyne. Ateina kartą pas mane pažįstamas rusiškai rašęs poetas Eugenijus Škliaras, gimęs bene Ukrainoje, bet vėliau apsigyvenęs Lietuvoje. Susipažinau su juo 1917 m. Čiugujevo karo mokykloje.

Atėjęs sakosi Berlyne leidžiąs rusų kalba laikraštį ir prašo, kad aš tam laikraščiui parašyčiau straipsnį apie Lietuvą. Parašiau. Straipsnio pabaigoje pacitavau tarytum Lietuvai skirtas šias Baltrušaičio 1915 m. parašytas eiles:

Она теперь в глубоких ранах
И вся в запекшейся крови,
Но зреет в Северных туманах
Срок искупительной любви,
И в темную обитель дрожи

Вондет, как пламя, отрок божий,
И будет ярко горяча
В руках невольничьих свеча —
И в щедрый дар за крест суровый,
Где было время всех забот,
Наш древний посох расцветет
И дивный трепет жизни новой
Молитвенно в победный час,
Как чудо солнца, вспыхнет в нас...

Poeto atžvilgiu, aišku, pasielgiau netaktiškai, savavališkai priskirdamas jo žodžiams kaip ir kitokią paskirtį — mat, tos eilės įeina į ciklą «Село Ильинское», tematiškai susijusį su Rusija. Laikraščio iškarpą, lydimą tikriausiai kokio mano laiškelio, nusiunčiau poetui. Jis visai neatsiliepė ir niekuo nereagavo. Betgi dievai vieni težino, ar kartais poetas iš tikrųjų nebus turėjęs širdyje ir galvoje savo gimtojo krašto, Lietuvos, kai kūrė tą giliai išjaustą, pranašišką posmą? Juk ir objektyviai žiūrint, 1915 m. karas praužė su visu savo siaubu per Lietuvą, kai rusų žemės karo veiksmų dar nebuvo paliestos. O kad Baltarusaitis gimtojo Lietuvos krašto negandas ėmė į širdį, rodo ir jo dalyvavimas nukentėjusių nuo karo lietuvių šelpimo veikloje.

1927—1933 metai. Sekretoriauju Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje.

Susitinku kartkarčiais su poeto sūnumi, būsimu meno istoriku, Jurgiu Baltrušaičiu. Tada jis mokėsi Sorbonoje. Meno istoriją ten dėstė tuomet garsusis Henri Focillon'as (1881—1943), kurio įdukrą jaunas Baltrušaitis, baigęs Sorboną, vedė.

Tekdavo tikriausiai kada-ne-kada matyti Paryžiaus pasiuntinybėje ir poetą, bet tų susitikimų būta veikiausiai tokių nereikšmingų, jog atmintyje iš jų nieko nepasiliko. Girdėta tik, jog jis labai troško, kad sūnus gerai išmoktų lietuvių kalbą ir, parvažiavęs į Lietuvą, dirbtų ten savo specialybės mokslinį darbą. Sūnus dar Paryžiuje mokėsi savo įprastu atsidėjimu lietuvių kalbos (aš kurį laiką jam talkinau), o 1933 m. jau pradėjo dėstyti lietuviškai meno istoriją Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Tėvas buvęs tuo labai patenkintas ir bene V. Krėvei

sakęsis norįs, kad sūnus atidirbtų Lietuvai už jį ir jo sugaištą laiką. Relata refero*.

Paskutinį kartą poetą mačiau Kaune 1939 m. pradžioje, kai jis, išvykdamas į Paryžių, užėjo pas mane atsisveikinti ir savo naujos materialinės padėties aptarti.

Kaunas, 1973.VI.13

Juozas Urbšys

* * *

Su Jurgio Baltrušaičio kūryba susipažinau 1913 m. iš A. Jakšto recenzijos apie eilėraščių rinkinį „Zemnyje Stupeni“, kurioje buvo nemaža citatų. Kai kurios tų citatų taip įstrigo man į atmintį, kad ir dabar, po šešiasdešimties metų, galiu jas pakartoti.

1919 m. Kaune gavau paskaityti abu Baltrušaičio eilėraščių rinkinius — „Zemnyje Stupeni“ ir „Gornaja Tropa“. Tuo laiku buvau susižavėjęs simbolizmu. Skaičiau A. Bloką, V. Briusovą, F. Sologubą, K. Balmontą ir kitus, bet iš visų simbolistų Baltrušaitis man darė didžiausią įspūdį.

1923 m. vasarą Kaune man teko asmeniškai susipažinti su Baltrušaičiu per pietus pas mano artimą bičiulį gydytoją Jurgį Alekną, jo studentavimo laikų draugą. Abu jie buvo vienmečiai, abu tais pat metais baigė gimnaziją (Baltrušaitis — Kaune, J. Alekna — Vilniuje), abu tais pačiais metais įstojo į Maskvos universitetą ir čia studijuodami artimai bendravo. Todėl suprantama, kodėl Baltrušaitis, atvykęs į Kauną, kartais aplankydavo ir savo seną bičiulį. J. Alekna gyveno Daukanto g-vėje, R. Šliūpo namuose, keturių kambarių bute, buvo pasiturintis žmogus, mėgo gerai pavaišinti svečius. Tą kartą Baltrušaitis pas J. Alekną atėjo drauge su savo žmona Marija Ivanovna, simpatinga ir šnekia moterim. J. Alekna mane Baltrušaičiui pristatė kaip pradedantį rašytoją, sakydamas: „Jeigu šis ponas pasakys, kad tavo eilėraščiai ko nors verti, tai ir aš tuo patikėsiu“. Baltrušaitis į tai nieko nepasakė, ir visi nuėjome į val-

* Pasakoju tai, kas pasakota (už tikrumą neatsakau) (lot.). Red.

gomąjį. Pietavome keturiese: šeimininkas, Baltrušaičiai ir aš. Apie ką buvo kalbama per pietus, jau nebeprisimenu, bet gerai pamenu, kad Baltrušaitis kalbėjo labai mažai, valgė tylėdamas, atrodė niūrus, labai panašus į jo atvaizdus laikraščiuose.

1924—1927 m. studijavau Lijono universitete drauge su humanitarinių mokslų fakulteto dekanu dukterimi Mele* Erar. Kartą ji manęs paklausė, ar aš kartais nepažįstas Baltrušaičio, kuris studijuojąs Paryžiuje kartu su jos broliu. Pasakiau, kad pažįstu jo tėvą, ir ji man pažadėjo, jeigu Baltrušaitis sūnus atvyktų į Lijoną, mane su juo supažindinti. Bet į Lijoną jis neatvyko, ir su juo susipažinti neteko.

1928 m. „Lietuvos aide“ pasirodė pirmasis Baltrušaičio eilėraštis lietuvių kalba „Ramunėlė“. B. Sruoga žurnale „Studentas“ apie tą eilėrašį parašė straipsnį, kuriame nesigailėjo pagyrimų eilėraščio poetiniams privalumams, išskeldamas jį iki tobuliausių pasaulinės literatūros šedevrų.

Po to kartkartėmis laikraščiuose ir žurnaluose pasirodydavo žinutė, kad Baltrušaitis rengiąs spaudai savo lietuviškų eilėraščių rinkinį, kad tas rinkinys netrukus pasirodysias, bet visa taip ir pasilikdavo tik laikraštinėmis žinutėmis iki 1940 metų, kai žurnale „Raštai“ pasirodė ištrauka iš jo lietuviškos poemos „Žvaigždės ir kanklės“.

Maža smulkmena, kurią teko išgirsti iš Kauno žurnalistų. Už savo „Ramunėlę“ Baltrušaitis būk gavęs aukščiausią tais laikais Lietuvoje honorarą. „Lietuvos aido“ redaktorius paklausęs poetą, kiek jis turįs sumokėti honoraro už ką tik išspausdintą jo eilėrašį. Baltrušaitis atsakęs: „Skorpiono“ leidykla man mokėdavo po vieną rublį už eilutę, vadinasi, po penkius litus. Tiek, manau, sumokėsite ir jūs“.

Kad Baltrušaitis rašęs eilėraščius ne tik rusiškai, bet ir lietuviškai, buvo plačiai kalbama. Tačiau buvo neaišku, kodėl jis jų niekur nespausdina. Čia galėjo būti kelios priežastys. Jau 1913 m. A. Jakštas graudeno Baltrušaitį rašyti lietuviškai, bet poeto tas graudėnimas, matyt, nepaveikė. Jis jau buvo pagarsėjęs rusų rašytojas, ir pradėti rašyti kita kalba, kad ir gimtąja, bet jau gerokai primiršta, nebuvo taip lengva, antra, gal

* T. y. made moiselle (pranc.) — panelė. Red.

ir jis, kaip savo laiku lenkų poetas J. Slovackis, nenorėjęs gaudinti stiliaus (J. Slovackiui buvo siūloma rašyti prancūziškai). Antra vertus, Baltrušaitis, pradėjęs rašyti rusiškai, neskubėjo leisti savo eilėraščių rinkinio. Tarp jo pirmojo eilėraščio rusų kalba ir rinkinio „Zemnyje Stupeni“ praėjo beveik tiek pat laiko, kiek tarp „Ramunėlės“ ir „Ašarų vainiko“.

Kodėl Baltrušaitis vis dėlto pradėjo rašyti lietuviškai? Į šį klausimą, manau, atsako Boriso Zaicevo atsiminimai („Kūryba“, 1944, Nr. 2). 1920 m. Baltrušaitis, pakviestas skaityti savo poeziją Maskvos Politechnikos institute, buvo nušvilptas kaip komunistus persekiojančios valstybės atstovas ir tuo būdu išstumtas iš rusų literatų tarpo. O į klausimą, kodėl jis rašė rusiškai, atsakymą galima rasti M. Kaunaitės atsiminimuose apie Baltrušaitį („Pergalė“, 1971, Nr. 3). Slapta vedęs turtingo Maskvos pirklio Olovianišnikovo dukterį, pats būdamas beturtis studentas ir daugiau negu nepageidaujamas šeimos narys, bet jausdamas savyje didelį poeto talentą, jis galėjo įrodyti, kad yra ne iš kelmo spirtas, tik kaip literatas, rašąs rusiškai, ir tuo būdu tapti materialiai nepriklausomu nuo žmonos šeimos.

Alfonsas Šimėnas

* * *

Pirmą kartą poetą Jurgį Baltrušaitį ir jo žmoną pamačiau savo vestuvėse 1925 m. vasario 7 d. Kaune. Mano vyras — gydytojas Jurgis Alekna (1873.II.4—1952.X.17). Baigęs Vilniaus gimnaziją, jis kartu su Baltrušaičiu studijavo Maskvos universitete. Nuo studijų metų ir palaikė bičiulystę.

Baltrušaitis buvo žmogus, kurį, kartą pamatęs, niekad nebepamirši. Bet papasakoti apie jį po daugelio metų jau sunku. Žodžiais išreikšti poeto būdą, išvaizdą, jo originalumą vargu ar galėsiu.

Baltrušaitis buvo aukštas, šatenas, akys mėlynos, labai gražios, liūdnos, bet kažkokios geros, geros. Veidas rūstus, susikaupęs, pilnas vidinio rūpesčio, kančios. Balsas žemas. Kalbėdavo lėtai, kiekvieną žodį pasverdamas, mėgdavo daugiau tylėti ir klausytis. Kartais atrodydavo tartum užsimastęs. Tik

kai išgerdavo, kiek pralinksmedavo, tapdavo šnekesnis. Prisimenu, nepaprastai daug rūkydavo, gerdavo juodą kavą. Mano vyrui yra sakęsis, kad net naktimis ją vartojęs, kai imanti kankinti nemiga. Vyras, kaip gydytojas, patarė mažiau vartoti kavos, nes ji ardo sveikatą, ypač kenkia širdžiai. Poetas atsakęs, kad be rūkymo, kavos nebegalėtų dirbti.

Baltrušaitis kasmet atvažiuodavo į Kauną ir kiekvieną kartą aplankydavo mus. Dažnai pietaudavo. Sakydavos pasiilgęs lietuviškų valgių: juodos duonos, kumpio, skilandžio, grybų, žuvies, sūrio, barščių, kopūstų. Džiaugdavo, kad jam malonu esą pas savo studijų draugą pabūti, kad jis čia užmiršta visus rūpesčius, pailsi, čia jo niekas nevaržo, neįpareigoja, kad čia nėra diplomatinų barjerų. Jiedu ilgokai dviese pasikalbėdavo. Gaila, kad mano vyras neužrašė tų pokalbių.

Su žmona retokai atvažiuodavo. Marija Baltrušaitienė buvo juodbruvė, tamsių, didokų akių, aukštoka, jau pagyvenusi moteris. Mėgo gražius tualetus. Man atrodė, kad jiedu galėjo būti vienmečiai. Laime ji nespinduliavo. Akyse ir veide matėsi susirūpinimas, liūdesys. Kai kartą, praėjus keleriems metams, vasarodami susitikome Rygos pajūryje, ji man guodėsi, kad Jurgis esąs nepraktiškas, kad jam svetimi šeimos ekonominiai reikalai bei rūpesčiai, kad jis paskendęs savo pasaulyje, mene, literatūroje, filosofijoje, ir jai vienai tenka tvarkyti visus šeimyninius reikalus. Nuolat kalbėjo apie savo sūnų Žoržiką, silpną jo sveikatą, rūpinosi jo ateitimi. Man pasirodė, kad ji labai praktiška moteris. Matyt, tą bruožą paveldėjo iš tėvo fabrikanto.

Vestuvių dieną ji atnešė gėlių. Dovanų tais laikais niekas neduodavo. Kartą iš Paryžiaus 1928 ar 1929 m. atvežė man gražų šalį. Baltrušaitis atveždavo juodos ikros. Kai 1938 m. mano vyras buvo Prancūzijoje, susitiko jiedu Lietuvos atstovybėje.

Negaliu pasakyti kada, bet gerai prisimenu, kad Baltrušaitis lietuviškai padeklamuodavo mums savo eilėraščių („Ramenėlė“ ir kt.). Lietuvos gamta, tėviškės vaizdai, matyt, giliai poeto širdyje buvo išlikę. O iš M. Baltrušaitienės neteko nė vieno lietuviško žodžio išgirsti.

Kaip jau minėjau, Baltrušaitis mylėjo mano vyrą. Sirdingai abu pasibučiuodavo susitikę, na ir man ranką pabučiuodavo. Mano vyras mėgo teatrą. Turėjome jame nuolatinės vietas. Vėliau ir vaikus vesdavomės. Vyras turėjo didelę biblioteką, kurioje šalia medicinos knygų buvo ir grožinės literatūros. Tikriausiai joje buvo ir abu poeto eilėraščių rusų kalba rinkiniai, dovanoti vyrui. Gaila, kad 1946 m. potvynis Kaune beveik visą biblioteką sunaikino.

Mano vyras buvo išvažinėjęs Europą skersai ir išilgai. Tobulinosi Vienoje ir Berlyne. Buvo geras specialistas ir geros širdies, švelnaus būdo žmogus. Zavėjosi Italijos, Prancūzijos, Vienos, Berlyno muziejų ir galerijų meno kūriniiais, architektūros paminklais. Turėjo dail. Jono Mackevičiaus (1872—1954) kūrinių, juos ir dabar tebeturime: natiurmortas, Italijos miesto vaizdas, Kaprio salos „Mergelės“ spalvotas portretas. Vyras pasakojo, kad tai buvusi neturtinga gražuolė. Kažkoks turtuolis ją vedęs.

Baltrušaitis lankėsi ne tik pas mus Kaune, Daukanto 5, Roko Šliūpo name, kur vyras iš pradžių nuomojosi butą ir kur atšventėme kuklias vestuves, bet vėliau ir mūsų nuosavame namelyje Mickevičiaus 6. Čia tebestovi tie patys baldai, tebekabo tie patys paveikslai, kaip ir tais laikais, kai mus lankė poetas.

Kaunas, 1953.V.18

Janina Išoraitė-Alekniene
(Užrašė M. Grigaitytė)

* * *

Tikrai neatsimenu, 1925 ar 1926 m. rudenį buvau užėjęs į Lietuvos Užsienio reikalų ministeriją pas Juozą Tysliavą (jis tada čia dirbo) paprašyti, kad atiduotų man penkiasdešimt litų skolos. Tais laikais, studijuodamas Kauno universitete, dažnai stokodavau pinigų, bet ir Tysliava jų ne per daug turėjo.

Įeinu ir žiūriu: už stalo sėdi kokių penkių dešimčių metų, labai rimtos išvaizdos, lyg supykęs, juodbruvis, stamboko kūno sudėjimo, bet labai liesas žmogus.

J. Tysliava man pasakė, kad tai Jurgis Baltrušaitis — lietuvių poetas, rašantis rusiškai. Tą jis man be reikalo priminė, nes aš Baltrušaičio eilėraščius buvau skaitęs ir jo kūrybą pa-

mėgęs. Mane stebino, kad jo rankose buvo ne rusiškas žurnalas, o prancūziškas „Nouvelle Revue Française“.

J. Tysliava mane pristatė jam sakydamas:

— Tai Salys Semerys — Lietuvos ekspresionistas ir rinkinio „Granata krūtinė“ autorius.

Baltrušaitis man rankos nepadavė, nors mudu su J. Tysliava buvom visai arti prie jo priėję. Tiktai balsu, lyg iš ano pasaulio, prabilo:

— Vadinas, jūs — tas pramuštgalvis?

— Taip, tai aš.

— Jūs rašote zdorovo i serdito.

— Kaip moku, taip šoku.

— O, jūs tolokai nustraksėjote. Nemislijau, kad ekspresionizmas gali lietuviškai prabilti.

— Matot, prabilo...

Nespėjau baigti dėstyti savo minčių, kaip staiga atsivėrė durys iš vieno kabineto ir Baltrušaitį pakvietė pas save pats užsienio reikalų ministras.

Daugiau su juo man nebeteko susitikti.

Buvo sensacija, kai 1928 m. Baltrušaitis už „Ramunėlę“, išspausdintą „Lietuvos aide“, gavo honoraro po 10 litų už eilutę, kai tuo tarpu mes negaudavome nė po litą. Mat, jis buvo pristatęs sąskaitą, pagal kurią jam prieš pirmąjį pasaulinį karą Rusijoje buvo mokama po 1 rublį už eilutę. Pagal tų laikų valiutos kursą vienas rublis buvo lygus dešimčiai litų. Taigi, už tą eilėrašį Baltrušaitis gavo 160 litų, nes „Ramunėlė“ buvo tik 16 eilučių. Už tokią sumą anais laikais galėjo maitintis vidutiniška keturių žmonių šeima visą mėnesį.

Klaipėda, 1970

Salys Šemerys

* * *

Poetui Jurgiui Baltrušaičiui einant nepaprasto įgaliotinio pareigas, Lietuvos pasiuntinybėje Maskvoje dirbau mašininke apie dešimtį metų.

Pasistengsiu trumpai šį tą apie poetą papasakoti, nors, praėjus keliems dešimtmečiams, daug kas išblėso iš atminties.

Atvykusi į Maskvą 1926 m., turėjau tik dvidešimt dvejus

metus. Todėl suprantama, kokį didelį įspūdį padarė man pirmas susitikimas su tokiu žmogumi, kaip Baltrušaitis. Visą bendro darbo laiką jaučiau jo nepaprastą erudiciją, dvasinį didingumą ir tuo pačiu savo menkumą. Rūstus veidas, pilnas gilaus susimąstymo, santūrus judesiai, didinga eiseną. Man rodos, kad poetas visada buvo ramus, niekad neskubėjo, vis paskendęs savo mintyse, labai nekalbus. Retai kada nusišypsodavo, retai kada veidas nušvisdavo atvirumu.

Aš perrašinėdavau jo eilėraščių rankraščius. Tokiu reikalu prie manęs priėjęs, jis lyg varžydavosi ir nusišypsojęs prašydavo niekam rankraščių nerodyti. Rašydavo rusų ir lietuvių kalbomis. Atlikusi darbą, tuoj jam gražindavau. Į jo kabinetą eidavau kaip į šventovę. Su didžia pagarba jį miniu, kaip labai gerą žmogų ir didį poetą. Per visą darbo laikotarpį Baltrušaitis niekad nėra atsakęs net menkiausio mano prašymo, visados stengėsi man padėti, visiškai pasitikėjo mano darbu, niekad nėra davęs nė vienos pastabos.

Poeto namuose neteko būti, nes visus priėmimus jis rengdavo pasiuntinybėje.

Teko kartu su poetu būti svečiuose pas Dailės teatro aktorius A. Oleką-Zilinską, Solovjovą ir kt. Baltrušaitis ir ten būdavo tylus, susimąstęs. Retkarčiais pasidalindavo mintimis apie teatrą, meną, vaidybą. Kiek prisimenu, visi įsiklausydavo į jo žodžius. Ypatingai šiltai jis kalbėdavo apie Kamerinį teatrą ir aktorę Alisą Koonen. Buvo dažnas Tairovų svečias. Žavėdavosi Mejerholdo mokykla, aktoriais Kačialovu, Giacintova ir kt.

Mėgo kalbėti apie dailininką Rerichą, žavėjosi jo darbo maniera, didžiavosi M. K. Čiurlioniu.

Buvo nuolatinis Maskvos Didžiojo teatro lankytojas ir nepraleisdavo žymesnių simfoninės muzikos koncertų Čaikovskio salėje.

Jo žmona buvo nuolatinė palydovė į koncertus ir parodas. Jie dažnai vykdavo į Prancūziją ir į Rytų kraštus, grįžę maloniai pasakodavo savo įspūdžius.

Baltrušaičio sūnus gyveno Prancūzijoje, kartais atvykdavo į Maskvą su žmona prancūze, dalyvaudavo priėmimuose.

1969.IX.10

Eugenija Babrauskaitė-Žvioniene

Su Jurgiu Baltrušaičiu susipažinau 1933 m., bet pirmą kartą apie jį sužinojau ankstyvoje jaunystėje. Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą rusų žurnale „Vsemirnaja panorama“ skaičiau straipsnį apie jo asmenį ir poeziją. Stebėjau: lietuvis, o rusų poetas. Atmintin įstrigo ir vieno jo draugų simbolistų — Konstantino Balmonto — eilutės:

Гордый Юргис, ты похитил
Солнце, солнце у меня...

Straipsnio pabaigoje buvo papasakotas anekdotiškas įvykis su rusui keistai skambančia poeto pavarde. Įvykę tai kažkokio vakaro metu, bufete. Prisistatydamas ten buvusiam, gerokai įgėrusiam rašytojui (spėjama, kad tai buvęs A. Kuprinas), poetas trumpai ištarė:

— Baltrušaitis.

— Ačiū, aš jau prisibaltrušinau (nabaltrušalsia), — atsakęs naujasis pažįstamas, turėdamas galvoje žargonizmą, kuris, matyt, buvo įprastas literatų sluoksniuose.

Su Baltrušaičio vardu tekdavo gana dažnai susidurti. 1918 m. Rygoje „Pašalpos“ draugijos bibliotekoje, kurią užtikau jos veikėjo Antanavičiaus bute, suradau „Draugijos“ žurnalo komplektus. Juos sklaidydamas, turėjau progos paskaityti atsiliepiamus apie Baltrušaičio rusiškos poezijos rinkinius „Zemnyje Stupeni“ (1911) ir „Gornaja Tropa“ (1912). Kaip poeto kredo buvo cituojamas pirmasis posmas iš „Zemnyje Stupeni“:

Вся мысль моя — тоска по тайне звездной,
Вся жизнь моя — стояние над бездной...

Tą posmą atsimenu visą amžių. Ta pačia proga susipažinau su posmais iš eilėraščio „Tkač“ („Audėjas“), kurių pirmasis toks:

Над докучной серой тканью
Ткач упорный, я поник...
Верный темному алканью,
Тку — сплетаю с мигом миг...

O paskutinis posmas taip skamba:

Вечереет, и невольно
Тень сдвигается к станку...
Что-то грустно, что-то больно —
Уж не саван ли я тку?

Vėliau Baltrušaičio eilėraščių rasdavau rusų tuolaikinės poezijos antologijose greta A. Achmatovos, K. Balmonto, A. Belo, A. Bloko, V. Briusovo, I. Bunino, Viač. Ivanovo, F. Sologubo, M. Šaginian ir kitų poetų.

Daug vėliau iš žinomos veikėjos Marijos Kaunaitės pasakojimų sužinojau apie Baltrušaičio veiklą pirmojo pasaulinio karo metais. Jis tada buvęs Lietuvių pabėgėlių šelpimo komiteto Maskvos skyriaus pirmininkas ir daug laiko, rūpesčių ir lėšų skyręs pabėgėlių globai. Jo turtingoji uošvė Olovianišnikova pavedusi pabėgėliams namus, kurių vienas aukštas buvęs skirtas lietuviams, kitas — latviams. Baltrušaičio žmona Marija nuoširdžiai rūpinusi pabėgėliais. Pati M. Kaunaitė gyvenusi pas Olovianišnikovą drauge su jos augintine ir dažnai būdavusi pas Baltrušaičius.

Tarybų valdžiai įsikūrus Pabaltijo respublikose, 1919 m. dirbau Rygojeėjusiame laikraštyje „Darbininkų kova“. Skaitydamas Maskvos laikraščius, sužinojau, kad Baltrušaitis dalyvauja literatūros vakaruose ir yra Maskvos rašytojų profesinės sąjungos pirmininkas.

Sudarius taikos sutartį tarp Lietuvos ir Tarybų Rusijos, išgirdome, kad Baltrušaitis vadovavo Lietuvos misijai, o paskui buvo paskirtas pasiuntiniu Maskvoje. Jis atvažinėdavo į Lietuvą, bet susitikti netekdavo. Baltrušaitis lankydavosi ne tik pas valdžios žmones, o bendraudavo ir su rašytojais, ypač su V. Krėve-Mickevičium bei senu pažįstamu B. Sruoga.

Pirmasis tiesioginis mano susitikimas su Baltrušaičio lietuviška poezija įvyko 1928 m., redaguojant „Naujo žodžio“ žurnalą. To žurnalo bendradarbių tarpe buvo ir B. Sruoga. Vieną kartą jis atėjo į redakciją ir iškilmingai pareiškė gavęs du garsaus poeto kūrinius. Tai buvo Baltrušaičio eilėraščiai. Vienas jų — „Vakaro varpas“, skirtas Maironiui, antras — „Daina“ („Ramunėle tu baltoji...“), vėliau B. Sruogos taip labai išgar-

sintoji „Ramunėlė“. Įdėjome eilėraščius žurnalo 9-me numeryje su poeto atvaizdu. Tai buvo vieni pirmųjų lietuviškų Baltrušaičio eilėraščių, paskelbtų Lietuvos spaudoje. Deja, tada nepastebėjome, kad tie eilėraščiai kiek anksčiau buvo jau publikuoti „Lietuvos aide“.

Asmeniškai su Baltrušaičiu susitikau 1933 m. Maskvoje, nuvykęs ten kaip žurnalistas drauge su kompozitorium ir pianistu B. Dvarionu. Mums pasiūlė apsigyventi Lietuvos pasiuntinybėje, Vorovskio gatvėje, Nr. 24, kur dabar yra Tarybų Lietuvos nuolatinė atstovybė. Suprantama, tada gana dažnai tekdavo matytis su Baltrušaičiu. Aukštas nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro, o dar ir viso diplomatinio korpuso Maskvoje duajeno (seniūno) rangas netrukdė jam būti paprastu, mielu, lengvai prieinamu žmogumi. Apie Baltrušaitį prisimename kaip apie niūroką ir tylą mėgstantį, nekalbų žmogų. Bet, arčiau susipažinus, pokalbyje jo veidas sušvelnėdavo, akys po tankiais antakiais nušvisdavo. Kalbėjo jis lėtai, lyg kiekvieną žodį apsvarstydamas.

Natūralus tada buvo susidomėjimas Baltrušaičio lietuviškąja kūryba. Dar 1922 m. jis minėjęs apie ruošiamą lietuviškų eilėraščių rinkinį. Kalbėdamasis su „Naujo žodžio“ bendradarbiu 1930 m., jis pasisakė turįs sudaręs visą rinkinį, gal net suspėjęs tais metais išleisti. Tad ir paklausiau pasiuntinį poetą apie jo lietuvišką rinkinį.

— Tą skolą savo tautai aš seniai jaučiu,— tarė Baltrušaitis.— Eilėraščių rinkiniui turiu pakankamai. Norėčiau greičiausiai išleisti, bet vis dar gerinu, šlifuoju. Ir rusiškus rinkinius ruošiausi išleisti dar amžiaus pradžioje, o jie išėjo po 10—11 metų. Gi trečiasis rusiškas rinkinys dar tebeguli rankraščiuose arba dar ir galvoje kai kas tebėra. Eilėraščius rašydamas, nemėgstu skubos, negaliu su Balmontu lenktyniauti... O juk daug laiko tenka skirti reikalams, anaip tol ne poetiniams,— pridėjo jis su šypsena.

Baltrušaitis mėgo pasakoti apie praeitį, prisiminti vaikystę, praėjusią Nemuno pakrantėse ties Skirsnemune. Pasakojo apie motiną, mėgusią sekti pasakas, kurių daug pati sugalvodavusi. Daug fantastinių legendų ir senovės padavimų girdėjęs jis iš

Palangos Juzės tipo keliaujančių siuvėjų, elgetų, „karabelninkų“.

Įdomu buvo klausytis Baltrušaičio prisiminimų apie susitikimus su Maksimu Gorkiu, kurį jis sudomino lietuvių literatūra. Tai buvo 1915—1917 m., kai jis drauge su B. Sruoga ruošė lietuvių literatūros antologiją rusų kalba, kurią M. Gorkis ruošėsi išleisti. Į eilėraščių vertimo darbą Baltrušaitis buvo įtraukęs poetus A. Bloką, V. Briusovą, Viač. Ivanovą, A. Remizovą ir kt. Bet dėl revoliucinių įvykių toji antologija liko neišleista.

Kai, besikalbėdamas literatūros temomis, paklausiau Baltrušaitį, kuriuos tuometinius tarybinius poetus jis laiko žymiausiais, išgirdau tokį atsakymą:

— Mano manymu, iš šių dienų poetų geriausiais galima pavadinti Pasternaką ir Selvinskį. Be abejo, talentingi Antokolskis, Tichonovas.

Mudu su B. Dvarionu įsitikinome, kad Baltrušaitis turi plačius ryšius su tarybine visuomene ir joje gana populiarius. Tai žymia dalimi prisidėjo prie B. Dvariono koncertų pasisekimo.

Prieš mums išvykstant, Baltrušaitis suruošė B. Dvariono garbei priėmimą Lietuvos pasiuntinybėje. Svečių tarpe buvo TSRS Užsienio reikalų komisaras M. Litvinovas, TSRS Centrinio Vykdomojo Komiteto Prezidiumo sekretorius A. Jenukidzė, atsakingi Užsienio reikalų komisariato darbuotojai Karachanas, Krestinskis, Stomoniakovas, dirigentas Golovanovas su žmona dainininke Neždanova, režisierius Mejerholdas, artistas Kačialovas ir daug kitų aktorių, muzikų, meno darbuotojų.

Ta proga, taip pat ir per kitus susitikimus, pastebėjome, kad Baltrušaitis susilaiko nuo stipresnių gėrimų. Žinodami, kad seniau jis nebuvo blaivininkas, kiek nusistebėjome. O jis atsakydamas pajuokavo:

— Mažai nenoriu, o daug negaliu, tad verčiau susilaikyti. Gaila, kad nėra sūnaus, jis mane galėtų pavaduoti.

Kartą Baltrušaitis patarė man aplankyti Kremliuje sesijas, kurios tada buvo numatomos.

— Dabar reikšmingas momentas Tarybų Sąjungos gyvenime,— sakė jis.— Kaip tik baigiasi pirmasis penkmetis, kurio

planas buvo įvykdytas per ketverius metus ir dėl kurio įvairiausių nuomonių buvo reiškama užsienio spaudoje. Sesijose galėsite išgirsti ataskaitas apie penkmečio rezultatus, o tai jums, kaip žurnalistui, turi būti įdomu. Be to, turėsite progos stebėti, kaip dirba aukščiausieji Tarybų valdžios organai.

Su Baltrušaičio rekomendacija apsilankiau pas Užsienio reikalų komisariato spaudos skyriaus vadovą K. Umanskį. Jis man tuoj išdavė leidimus į Tarybų Rusijos Centrinio Vykdomojo Komiteto ir Tarybų Sąjungos Visasąjunginio Centrinio Vykdomojo Komiteto sesijų posėdžius Kremliuje, taip pat pakvietimą į priėmimą, suruoštą užsienio žurnalistams.

Už tą gerą patarimą ir pagalbą aš lig šiol Baltrušaičiui dėkingas. Pabuvojęs tuometinio tarybinio parlamento sesijose, giliau supratau ir pajutau, kuo gyvena tarybinės tautos, kokios jų tolesnės vystymosi perspektyvos. Tų sesijų aplankymas davė man įdomios medžiagos knygai „SSRS — mūsų akimis“, kurią parašiau, grįžęs iš tos kelionės. Apskritai susidariau įspūdį, kad Baltrušaitis jaučia didelę simpatiją Tarybų Sąjungai ir nuoširdžiai veikia gerų kaimyninių santykių tarp Lietuvos ir TSRS labui.

Paskutinį kartą susitikau su Baltrušaičiu 1938 m. Kaune. Tai įvyko po mano viešo pasisakymo prieš fašistinę Lietuvos vyriausybę Lenkijos ultimatumo proga. To pareiškimo tekstą išspausdinau ir išsiuntinėčiau daugeliui visuomenės veikėjų, jų tarpe ir Baltrušaičiui.

Kartą užėjau Kaune į knygyną, žiūrinėčiau literatūros naujienas. Tik staiga juntų, kad kažkas paėmė už parankės. Atsiuku — Baltrušaitis.

— Gavau, ačiū. Suprantu jus ir visiškai pritariu,— lakoniškai pasakė ir tvirtai paspaudė ranką.

Vėliau, 1939 m. balandžio mėnesį, Baltrušaitis išėjo į pensiją ir išvyko į Paryžių. Nominaliai jis buvo paskirtas Lietuvos pasiuntinybės patarėju vieton mirusio poeto Oskaro Milašiaus. O 1940 m., atkūrus Tarybų valdžią Lietuvoje, malonu buvo išgirsti džiugią žinią, kad Baltrušaitis atsiuntė LTSR Valsty-

binei leidyklai savo lietuviškos poezijos rankraščius. Taigi ligi pat mirties Baltrušaitis liko abiejų tautų — lietuvių ir rusų — poetu.

Vilnius, 1973.VI. 5

Justas Paleckis

* * *

Nuo 1934 m. gegužės mėn. iki 1939 m. balandžio mėn. dirbau pas Jurgį Baltrušaitį Maskvoje, Lietuvos atstovybėje, štalium, kurjeriu.

...Jurgis Baltrušaitis buvo susimąstęs, mažakalbis, labai retai nusišypsodavo. Balsas žemas, kalba lėta, rami. Kalbėdavo pamąstydamas, tartum kiekvieną žodį pasverdamas, pamatuo-damas. Su kiekvienu darbuotoju, net su valytoja ar sargu, kalbėdavo tik stovėdamas. Būdavo, kiekvienam ranką paduos, gerą žodį, kad ir vieną, pasakys, pažiūrės į tave labai gerom gerom akim. Ir atrodydavo, kad tave kokie stebuklingi spinduliai sušildo.

— Tik jaučiui reikia atkelti vartus. Žmogus turi savo rankas,— sakydavo Baltrušaitis, kai jam kas mėgindavo atidaryti duris.

Buvo didelis demokratas, paprastas paprastas žmogus. O vis dėlto jį žinojo ir gerbė visa Maskva. Užtekdavo pasakyti jo pavardę, parodyti raštą su jo parašu, ir visi keliai atviri, visi šviesoforai atidaryti.

Kartą Baltrušaitis pasiuntė mane į Didįjį teatrą jo svečiams bilietų nupirkti. Negaunu. Kai tik pasakiau, kad jų reikia Baltrušaičiui, sekretorius pasakė:

— Jei Baltrušaičiui, iš žemės iškasime.

Ir iškasė.

...Kitą sykį turėjau jam užsakyti užsienio spaudą. Irgi buvo sunku tol, kol neišgirdo Baltrušaičio pavardės. Iš karto rados kita kalba, viskas kuo puikiausiai buvo padaryta. Atstovybės tarnautojai džiaugėsi, kad Lietuvos atstovas visoje Maskvoje toks didelis autoritetas, visų gerbiamas, žinomas.

Nė vienas iš atstovybės darbuotojų nepatyrėme, kad kada nors būtų buvę kokių nemalonumų, trukdymų, kliūčių, atliekant Baltrušaičio pavestus darbus, pareigas.

...Gyveno kukliai, paprastai, be prabangos. Marija Baltrušaitienė buvo milijonieriaus pirklio (ikonų fabrikanto) duktė. Ištekėjo iš didelės meilės.

Ilgus metus tarnavusi pas Baltrušaičius mergina pasakojo, kad Baltrušaitienės tėvai ir broliai priešinosi jų vedyboms, darė visokias kliūtis, bandė ją išvežti į Peterburgą. Tačiau Marija iš traukinio pabėgusi, grįžusi į Maskvą. Ir slapta susituokė su Baltrušaičiu, kuris ją, kaip korepetitorius, mokė matematikos.

...Kiekvienas mūsų jautėme ir supratome, kaip sunku buvo poetui gyventi pirklio šeimoje, toje aplinkoje, kur turtai, pinigai, prabanga lėmė viską. Gal dėl to poetas ir nekentė prabangos, turto, gal dėl to jo sielai buvo svetimas pinigų troškimas. Ir, gal būt, todėl jis visada atjautė žmogų, reikalingą pagalbos. Jis suprasdavo sužvarbusį vežiką, laukiantį iš keleivio skatiko arkliui avižoms ir šaukštui šilto viralo savo alkaniems vaikams ar sergančiai žmonai. Jis samdydavosi patį vargiausią vežiką, tokį, kurio arklys prastesnis, pakinktai blogesni, aprėdas skurdesnis. Visada, būdavo, pridės dar avižoms. Ir mums sakydavo, kad reikia žiūrėti, kam labiausiai reikia duonos kąsnio.

Negailėdavo arbatpinigių, švenčių metu jų duodavo atstovybės tarnautojams. Daug kas žinojo jo dosnumą. Poeto žmona skųsdavosi, kad vyras išdalina visą algą, ypač nuvažiavęs į Kauną, kad nieko nei sau, nei jai nenuperka. Baltrušaitis nemėgo naujų drabužių. Tiesa, turėjo 16 kostiumų, bet visi buvo jau gerokai padėvėti. Nors algos gaudavo apie 2000 litų, tačiau ir jo išlaidos buvo nemažos.

...Baltrušaičių butas buvo iš šešių didelių kambarių. Žmonos miegamasis gražus. Baltrušaitis miegodavo savo kabinete. Jame stovėjo ąžuolinė lova, užtiesta namine languota lietuviška lovatiese, rašomasis stalas, knygų spinta, spintelė prie lovos, knyginė su žodynais. Ant stalo stovėjo kryželis, ant spintelės prie lovos gulėjo evangelija ir maldaknygė. Po pietų Baltrušaitis priguldavo.

Mažai valgė, daug rūkė ir gėrė juodą kavą. Mėgdavo išgerti. Žmona su tarnaitė paslėpdavo gėrimus. Pasakydavo jam — užteks. Neprieštaraudavo.

Retai, bet atsitikdavo, kad kelias dienas neateidavo į darbą. Visi žinojome, kad Baltrušaitis kur geria arba išgėręs nesirodo atstovybėje.

...Mes užjausdavome Baltrušaitį šitoje diplomatų komedijoje. O jam reikėjo laikytis tarptautinio etiketo griežtų taisyklių. Girdėjome, kad Baltrušaitis esąs puikus šio etiketo žinovas, kad pas jį eidavę teirautis, mokytis kiti diplomatai, o jis niekam neatsakydavęs patarti. Frakas, cilindras ir pirštinės, rodos, slėgė valstietiškos natūros Baltrušaitį.

— Kaip aš nekenčiu šito parado, lėlių maskarado,— ne kartą sakė Baltrušaitis.

O tų priėmimų atstovybėje (Vorovskio g. 24) būdavo. Reikdavo ir jam į kitas atstovybes važiuoti, dalyvauti priėmimuose.

Mes visi jautėme, kad Baltrušaitis aukojasi savo tautai, savo krašto reikalams. Labai mylėjo Lietuvą.

Kai Lenkija 1938 m. kovo 17 d. įteikė Lietuvai ultimatumą, Baltrušaitis buvo taip susirūpinęs, susikrimtęs, kad, rodos, žemės po kojomis nematė. Jis daug iškentėjo, daug pakėlė rūpesčių, daug veikė diplomatiniais kanalais.

...Oi, sunku jam buvo dirbti. Kauno ponai nesuprato, ar nenorėjo suprasti Baltrušaičio darbo sąlygų, visų aplinkybių. O reikalų buvo visokių.

Prisimenu, kartą iš Kauno atvykusi delegacija vedė derybas su tarybine vyriausybe dėl miško. (Rodos, karo nuostoliams padengti.) Nežinau ir neišmanau, kaip ten kas vyko, bet Baltrušaitis į atstovybę atėjo susirūpinęs ir pasakė:

— Pribezdėjo Kauno ponai, o man reikia išvėdinti.

O kiek tokių vėdinimų! Tik didelė tėvynės meilė davė jam jėgų dirbti šitą sunkų atstovo darbą bemaž dvidešimt metų.

...Nemaža svečių lankydavosi Baltrušaičių namuose. Ir vis menininkai, muzikai (Sergejus Prokofjevas labai gražiai skambino), artistai.

Baltrušaičio išleistuvės buvo didelės, iškilmingos, daug tor-

tų, daug kalbų, gražių linkėjimų poetui, išvažiuojančiam iš Maskvos į Prancūziją pas sūnų.

O Baltrušaitis klausėsi susimąstęs, savo pasaulyje užsidaręs, tarytum norėdamas greičiau pabėgti ten, kur ramu.

Prieš išvažiuodamas pasirūpino savo darbuotojų likimu. Sutvarkė visų dokumentus, kad galėtume grįžti į Lietuvą.

Antanas Kakarėnas

(Užrašė M. Grigaitytė)

* * *

Jurgio Baltrušaičio 100-osios gimimo metinės vėl duoda akstino atkreipti dėmesį į jo asmenį ir kūrybą. Juo labiau, kad šio žymaus poeto asmenybė mums tebėra mažai pažįstama — didžiąją savo gyvenimo dalį jis praleido už gimtojo krašto ribų, o jo literatūrinė veikla didesne dalimi siejosi ne su lietuvių literatūros raida bei interesais. Tad nenuostabu, kad apie Baltrušaitį,— ir kaip žmogų, ir kaip poetą,— iki šiol yra rašę žymiai daugiau ir išsamiau kitataučiai,— pirmiausia, rusai,— negu mes patys, jo tautiečiai. Tiktai keleriais paskutiniaisiais metais ir mūsųose imta kaupti atsiminimus, laiškus, rankraščius, archyvinius dokumentus ir kitą medžiagą apie Baltrušaitį. Ta medžiaga mums padės geriau nušviesti Baltrušaičio ryšius su Lietuva, su mūsų rašytojais bei kultūros veikėjais. Kaip tik šioje srityje tebėra daug tamsių, dar neišaiškintų momentų, faktų, situacijų. O kasmet vis mažiau belieka gyvųjų tarpe žmonių, kurie turėjo progos vienu kitu atveju bendrauti su Baltrušaičiu ar bent epizodiškai su juo susitikti, matyti jį gyvą, koresponduoti su juo. Kiekvieno jų kad ir smulkus prisiminimas, kad ir atsitiktinis pastebėjimas apie poetą, manding, yra vertingas įnašas į lietuviškąją, kol kas dar labai neturtingą baltrušaitianą.

Tiktai šia dingstimi drįstu ir aš užfiksuoti iš savo praeities keletą momentų, turinčių ryšio su Baltrušaičiu.

Pirmasis tų prisiminimų liečia straipsnio apie Baltrušaitį publikavimą „Kultūros“ žurnale. Bene 1934 m. pavasarį žurnalo redakcija, kurioje tada dirbau faktiniu redaktoriumi, gavo iš

Maskvos laišką. Tai buvo itin retas, kone vienintelis atvejis redakcijos praktikoje — gauti korespondenciją iš Tarybų Sąjungos. Pažangiam žurnalui, kurio veiklą akylai ir priekabiausiai sekė fašistinė cenzūra bei žvalgyba, palaikyti susirašinėjimą su socialistine šalimi buvo gana rizikingas dalykas. Tačiau maskviškis laiškas šį kartą negalėjo sukelti nieko įtartina. Siuntė jį Sergejus Kara-Murza, prisistatydamas kaip tarybinis teisininkas bei kultūros veikėjas, iš seno pasižįstąs su Lietuvos pasiuntiniu Tarybų Sąjungoje. Laiške buvo siūloma atsiųsti „Kultūros“ žurnalui platų apžvalginį straipsnį apie Baltrušaitį. Šiandien tiksliai nebeprisimenu, kuo autorius motyvavo, kreipdamasis būtent į „Kultūros“ žurnalą, ir kuo buvo remiamas pasiūlymas išspausdinti tada tokį straipsnį. Greičiausiai, tai siejosi su Baltrušaičio šešiasdešimtmečiu, kurį jis ne per seniai (1933 m.) buvo atšventęs.

Sis pasiūlymas — netikėtas ir masinantis — kartu kėlė ir tam tikrų komplikacijų.

Baltrušaitis nepriklausė prie tų rašytojų, kurie anuomet traukė pažangiosios lietuvių visuomenės dėmesį. Jo poetinė kūryba — iki tol paskelbta tik rusų kalba — buvo nedaug kam žinoma Lietuvoje, o savo idėjinio-tematinio turinio ji mažai kuo siejosi su tuometinėmis kairiojo sparno skaitytojų aspiracijomis. Dargi priešingai — Baltrušaičio vardu ir jo poezija, kaip tam tikru nelygstamu estetiniu etalonu, ne kartą operavo simbolistai, su kuriais tada aštrios literatūrinės kovos pozicijose stovėjo mūsų kairieji rašytojai, besitelkiantys apie „Kultūros“ žurnalą. Reikalą dar labiau komplikavo ir ta aplinkybė, kad Baltrušaitis buvo aukštas buržuazinės diplomatijos pareigūnas, eo ipso atstovavęs tuometinei Lietuvos vyriausybei, prieš kurios autoritarinį režimą „Kultūros“ žurnalas stengėsi stovėti kiek galima nuoseklesnėje opozicijoje. Tad ir kilo klausimas: ar, paskelbiant siūlomą straipsnį, nebus žurnale užsiangazuota nepageidaujama prasmė tiek literatūriniu, tiek ir politiniu atžvilgiu? Pagaliau buvo neaišku, kokioje šviesoje Baltrušaitį — ir jo asmenį, ir kūrybą — traktuos tarybinis autorius: gal pernelg kritiškai, iš socialistinių pozicijų? Tokiu atveju siūlomą straipsnį vargu būtų leidusi spausdinti cenzūra.

Visi šie dvejojimai bei sumetimai atspindėjo ano meto politinę bei literatūrinę situaciją, todėl buvo sunku iš karto teigiamai apsispręsti dėl siūlomo straipsnio. Nutariau šiuo reikalu pasikonsultuoti su „Kultūros“ oficialiuoju redaktoriumi prof. P. Leonu, į kurį paprastai kreipdavausi patarimo ar sankcijos tik retais, ypatingai svarbiais atvejais. Prof. P. Leonas pasirodė besąs senas Baltrušaičio pažįstamas ir užtikrino, kad poetas, nepaisant savo aukšto diplomatinio posto, yra demokratinių pažiūrų, nepitaria fašistinėms smetoninės vyriausybės užmačioms. Todėl buvo nutarta prašyti maskviškį autorių atsiųsti žurnalui straipsnį apie Baltrušaitį.

Netrukus straipsnį gavome, ir jis pasirodė spausdintinas — jame nebuvo nieko, kas būtų buvę priešinga „Kultūros“ žurnalo vedamai linijai ar prie ko būtų galėjusi kibti cenzūra. Straipsnyje buvo pateikta turininga, pagrįsta iki tol mažai žinomais, — bent lietuvių skaitytojui, — faktais Baltrušaičio literatūrinės veiklos ir jo poetinės kūrybos apžvalga. Straipsnį iš rankraščio išvertė H. Korsakienė, ir jis pasiekė skaitytojus per du „Kultūros“ žurnalo numerius (1934, Nr. 9, 10). Tų numerių po kelis egzempliorius pasiuntėme į Maskvą S. Kara-Murzai, tačiau ar su šiuo straipsniu susipažino tada ir pats Baltrušaitis — redakcijai liko nežinoma (Skliausteliuose pridurtina, jog tuo šio straipsnio spausdinimo „istorija“ nesibaigė. Po kurio laiko autorius, dėkodamas redakcijai už atsiųstą žurnalą, paprašė ir honoraro. Nors „Kultūra“ bendradarbiams už raštus nieko nemokėdavo, nes nebuvo iš ko, tačiau šį kartą teko sukrapštyti šiek tiek užsienio valiutos — bene 15 amerikoniškų dolerių — ir pasiųsti autoriui, kuris liko visiškai patenkintas tokiu kad ir kukliu honoraru).

S. Kara-Murzos straipsnis tada patraukė Kauno literatūrinių sferų dėmesį. Tokie rašytojai, kaip V. Krėvė-Mickevičius ir B. Sruoga, — artimi Baltrušaičio bičiuliai bei gerbėjai, — buvo didžiai patenkinti to straipsnio pasirodymu. Tai iš dalies padėjo man ir kitiems kairiesiems rašytojams, bendradarbiavusiems „Kultūroje“, užmegzti artimesnius ryšius su V. Krėve-Mickevičiumi. Tas bendravimas kiek vėliau suvedė mus — tada palyginti dar jaunus literatus ir lietuvių literatūros klasiką —

į bendras antifašistines pozicijas, iš pradžių leidžiant „Literatūros“ žurnalą, paskui „Prošvaistės“ almanachą — iki pat didžiojo 1940 metų istorinio posūkio.

Tas bendravimas man davė progos pamatyti ir patį Baltrušaitį. Tai atsitiko tokiomis aplinkybėmis.

V. Krėvė-Mickevičius su B. Sruoga buvo įpratę priešpiečiais, atskaitę paskaitas universitete, eiti išgerti kavos. Tai jie darydavo reguliariai kone kasdien, būdingai žingsniuodami,— vienas išskirtinai žemas, kitas — pabrėžtinai aukštas,— Laisvės alėja į „Metropolio“ restorano kavinę. Jie demonstratyviai vengdavo lankytis žinomoje Konrado kavinėje, kur anuomet per ištisas dienas knibždėte knibždėdavo visas Kauno meninis-literatūrinis-žurnalistinis pasaulėlis. Tuo tarpu „Metropolio“ restorano kavinė,— tiksliau, atsarginė didelė salė,— priešpiečiais visada būdavo beveik pustuštė, ir čia buvo galima ramiai, netrukdam aplinkiniam erzeliui, pasimėgauti gera kava bei diskretiškai pasikalbėti. Šitokios sąlygos kaip tik ir patiko abiem įžymiams rašytojams, solidiems universiteto profesoriams. Tačiau jie nesididžiuodavo, į savo kompaniją čia įsileisdavo ir kitų, sau artimų bei patinkamų asmenų. Tad kartu su jais išgerti kavos „Metropolin“ dažnai dar ateidavo kalbininkas P. Skardžius, menotyrininkas P. Galaunė, folkloristas bei etnografas J. Baldžius (tada jis vadinosi Baldausku),— visi taip pat universiteto dėstytojai,— na, ir judrusis, visur spėjęs P. Cvirka. Retkarčiais drauge su juo arba ir vienas pritapdavau prie šios kompanijos ir aš, pasikliaudamas ne tiek artimesne pažintimi su profesūra (tebebuvau dar ir studentas), kiek savo, kaip „Kultūros“ žurnalo redaktoriaus, statusu.

Kaip tik vienos tokios „kavutės“ proga, bene 1937 m. pavasarį, užsukęs „Metropolin“, ir pamačiau įprastinėje kompanijoje sėdint Baltrušaitį. Pažinau jį iš karto, juoba jog žinojau jį tomis dienomis esant Kaune. Supažindintas su juo, ėmiau įdėmiai jį stebėti. Tada jis jau buvo įžengęs į septintą savo amžiaus dešimtmetį, atrodė kiek patukęs, paraudusiu veidu, vilkėjo pusšviesiais drabužiais. Sėdėjo jis už stalo beveik nepa-

judėdamas, visai nedalyvaudamas bendrame pokalbyje ir pamažu siurbčiojo iš didelio bokalo alų. Tik vienas V. Krėvė-Mickevičius teišdrįsdavo kartkartėmis užkalbinti jį, bandydamas įtraukti į užstalės pokalbį, ir tada jis pratarėdavo vieną kitą žodį, nuskambantį tarmiškai ir tartum kiek senoviškai. Jeigu nebūčiau žinojęs iš S. Kara-Murzos straipsnio ir iš paties V. Krėvės-Mickevičiaus pasakojimų apie tapusį legendiniu Baltrušaičio nekalbumą bei uždarumą, būčiau didžiai nustebęs tokia įžymiojo poeto laikysena, kaip tuo daug kas būdavo nustebinti, pirmą kartą susitikę su juo.

Tokiomis pat aplinkybėmis man teko dar kartą ar du pabūti Baltrušaičio artumoje, kai jis, atvykęs diplomatinės tarnybos reikalais į Kauną, užsukdavo su savo bičiuliais V. Krėve-Mickevičiumi ir B. Sruoga į „Metropolio“ kavinę pasėdėti ir lietuviško alaus pagurkšnoti. Paskutinį kartą tai buvo bene 1938 m., prieš jam išeinant į pensiją. Matyt, visais tais atvejais Baltrušaitis nepasakė nieko reikšmingesnio, nes nė viena jo frazė neįstrigo man į atmintį. Tačiau atsimenu, jog po kiekvieno Baltrušaičio atsilankymo Kaune V. Krėvė-Mickevičius paskui ne kartą yra diskretiškai perpasakojęs girdėtas iš jo žinias apie Tarybų Sąjungos gyvenimą bei apie jo artimus, visai „nediplomatiškus“ santykius su M. Gorkiu ir kitais rusų rašytojais. Suprantama, tada tie pasakojimai niekieno nebuvo užfiksuoti ir šiandien jie,— net ir prisimenami,— vargu ar begali būti laikomi autentiškais faktais.

Kad Baltrušaitis, lankydamasis Kaune, anuomet būtų palaikęs ryšius dar su kuriais kitais literatūriniais sluoksniais — man nėra tekę girdėti. Jo populiarumas ano meto lietuvių rašytojų tarpe buvo žymiai ribotesnis, negu šiandien galima manyti. Tai ryškiai parodė ir vienas literatūrinio gyvenimo epizodas, kurį verta čia priminti.

Visuotiniame Lietuvių rašytojų draugijos susirinkime, įvykusiame 1937 m. gruodžio 12 d., kalbant apie sumanymus, bene B. Sruoga ar L. Gira (nebegaliu tiksliai nurodyti) pasiūlė išrinkti Baltrušaitį Draugijos garbės nariu. Šį pasiūlymą susirinkimas sutiko kaip visai netikėtą staigmeną, į kurią vienas

dalyvių reagavo kandžiai ironiška replika: „O ką Baltrušaitis davė lietuvių literatūrai?!“ Ši — anuomet savotiškai taikli — replika didesnės susirinkimo dalies buvo palydėta spontaniškai pratrūkusi juoku. Po to stėjo ilga nejauki tylą, o siūlytojas aiškiai pasimetė. Sumišęs jis dar bandė argumentuoti savo pasiūlymą, tačiau nesusilaukė didesnio pritarimo — iš salės pasigirdo dar kelios Baltrušaičiui nepalankios replikos, ir kaip tik ne iš kairiųjų rašytojų tarpo, o iš nacionalistiškai nusiteikusių. Tada, ieškant išeities iš tokios nemalonios situacijos, kažkas diplomatiškai pasiūlė šį klausimą atidėti ir jį geriau parengti kitam susirinkimui. Tam ir buvo pritarta.

Šį epizodą galiu tikrai paliudyti, nes tame susirinkime sekretoriavau (kartu su P. Babicku), nors protokole to įvykio ir nepažymėjome — iš pagarbos J. Baltrušaičiui. Tik kitąmet (1938 m. spalio 30 d.) įvykusiame Draugijos visuotiniame susirinkime Baltrušaitis, — beje, jau nebe vienas, o kartu su G. Petkevičaitė-Bite ir V. Krėve-Mickevičiumi, — buvo pagaliau išrinktas Lietuvių rašytojų draugijos garbės nariu, nors ir šiame susirinkime, kaip rodo išlikęs protokolas, dėl jo nuopelnų lietuvių literatūrai formulavimo dar vyko nemaži ginčai.

Šis nemalonus epizodas šiandien, kai Tarybų Lietuvoje plačiai minimas ir gerbiamas Baltrušaičio vardas, o jo poezija, sukurta rusų ir lietuvių kalbomis, leidžiama puošniomis knygomis, atrodo vargu patikimas. Iš tikrųjų šiame epizode labai būdingai pasireiškė kai kurios ideologinės tendencijos, vyravusios anuomet tam tikroje Lietuvių rašytojų draugijos narių dalyje, būtent — šovininis atšakumas Baltrušaičiui už tai, kad jis iki tol rašė daugiausia rusiškai ir dar labai maža ką iš savo kūrybos tada tebuvo paskelbęs lietuvių kalba.

Aplinkybės — pasakyčiau, istorinės — taip susidėjo, jog man teko iš dalies rūpintis pirmųjų Baltrušaičio poezijos knygų lietuvių kalba išleidimu.

Steigiant 1940 m. Lietuvos TSR Valstybinę leidyklą, buvau paskirtas jos direktoriumi — vadovaujantys draugai, matyt, laikėsi nuomonės, jog tam postui geriausiai tinka literatūros kri-

tikas!.. Tad ir teko man rūpintis be Leidyklos organizacinių reikalų dar ir vadinamuoju jos „portfelio“, kuris tada nebuvo — anuo pereinamuoju laikotarpiu ir negalėjo būti — perdaug pilnas rankraščių. Užtat kaip tikra sensacija Leidykloje buvo sutikta žinia, kad Baltrušaitis atsuntė savo lietuviškų kūrinių rankraščius. Juos gavome, kiek prisimenu, bene dviem atvejais: pirmą kartą paštu, o kiek vėliau, berods, 1941 m. vasario mėn. pabaigoje, per istoriką B. Dundulį, kuris, grįždamas iš vokiečių okupuoto Paryžiaus, buvo apsiėmęs juos parvežti Lietuvon. Rankraščių siuntas sudarė alegorinė poema „Įkurtuvės“ ir eilėraščių rinkinio „Ašarų vainikas“ I dalis.

Prie rankraščių buvo pridėtas ir Baltrušaičio laiškas, adresuotas LTSR Valstybinei leidyklai, kuriame jis prašė išleisti siunčiamus kūrinius ir pabrėžė pasidariusį jam itin aktualiu reikalą — gauti kiek galima greičiau honorarą, kartu nurodydamas kelią per Švediją, kuriuo būtų galima pasiųsti pinigų. Be to, laiške buvo žadama artimoje ateityje atsiųsti ir daugiau rankraščių, pirmiausia „Ašarų vainiko“ II dalį.

Reikalas iš tikrųjų buvo ir svarbus, ir komplikotas. Svarbus pirmiausia todėl, jog lietė Baltrušaitį: gauti iš jo pasisiūlymą bendradarbiauti su tarybine leidykla anuo metu buvo ne vien literatūrinės reikšmės dalykas — tai turėjo ir tam tikros ideologinės-politinės prasmės. Antra vertus, reikėjo apsispręsti ir dėl jo atsiųstų kūrinių idėjinio-tematinio turinio tinkamumo spaudai. Ir pagaliau bene svarbiausia — reikėjo pirma, negu imtis rankraščių spausdinimo, išsiaiškinti honoraro išsiuntimo į užsienį galimybes, nes to meto sąlygomis, — vykstant Vakarų Europoje karui, — tai buvo gana sudėtinga procedūra.

Todėl apie visą šį komplikotą reikalą buvo pranešta vadovaujančioms instancijoms, kurios taip pat su dideliu dėmesiu bei palankumu ėmėsi jį spręsti. Netrukus buvo gautas teigiamas nurodymas tiek dėl Baltrušaičio rankraščių išleidimo, tiek dėl honoraro jam išsiuntimo.

Pirmiausia buvo atiduota spaudon poema „Įkurtuvės“, kurią iliustravo dailininkas T. Kulakauskas. Dailiai apipavidalinta knygelė pasirodė 1941 m. antroje pusėje, jau hitlerinės okupacijos sąlygomis, todėl antraštiniame jos puslapyje prie Vals-

tybinės leidyklos titulo nebėra pažymėta: „LTSR“, nors leidinio kaina dar ir nurodyta rubliais.

Rinkiniui „Ašarų vainikas“ buvo nutarta parūpinti įvadinį straipsnį apie Baltrušaičio poeziją, kurį sutiko parašyti B. Sruoga. Rinkinio redaktoriumi buvo paskirtas J. Grušas, kuris tada dirbo LTSR Valstybinėje leidykloje. Kaip toliau vyko šio rinkinio rengimas spaudai ir ar jį buvo spėta atiduoti spaudon dar iki hitlerinio užpuolimo, negalėčiau pasakyti, nes 1941 m. pavasariop aš pasitraukiau iš pareigų Leidykloje, pereinamas dirbti į naujai įsteigtą Lietuvos TSR Mokslų akademiją.

Tenorėčiau iš ano meto patirties padaryti tik tokį apibendrinimą: Baltrušaitis buvo vienas tų mūsų rašytojų, kurie, atsidūrę tada užsienyje, nevengė užmegzti ryšių su jaunos Tarybų Lietuvos kultūrinėmis institucijomis, tuo praskindami kelią savo kūrybai ir ateityje į socialistinę visuomenę. Tad šiandien, kai Baltrušaičio poezija įvairiais leidiniais rodosi mūsų knygynuose, atsimintina, jog tam pradžia buvo padaryta dar pirmaisiais tarybinės santvarkos Lietuvoje metais.

Gyvenimas pilnas netikėtumų, neretai sunkiai įsivaizduojamų. Sakysim, tada, kai rūpinausi straipsnio apie Baltrušaitį paskelbimu „Kultūros“ žurnale, ar tada, kai pirmą kartą pamačiau patį poetą, ar net ir tada, kai teko organizuoti jo pirmųjų knygų gimtąją kalbą leidybą, aš nebūčiau galėjęs nė susapnuoti, jog man teks tam tikrą laiką gyventi po tuo pačiu stogu, po kuriuo praėjo didelė Baltrušaičio gyvenimo dienų dalis.

O tai įvyko Didžiojo Tėvynės karo metais.

Kaip žinoma, buvusiose Lietuvos pasiuntinybės patalpose Maskvoje (namas Vorovskio gatvėje, Nr. 24) karo metais telkėsi ne tik veikusi evakuacijoje Tarybų Lietuvos vyriausybė, bet čia buvo apgyvendinti ir kai kurie mūsų rašytojai: A. Venclova, J. Šimkus, J. Baltušis, J. Banaitis ir kt. Su kai kuriomis pertraukomis ir man čia teko išgyventi daugiau kaip metus laiko. Šiuose namuose taip pat kartkartėmis lankėsi ar ilgiau apsistodavo L. Gira, P. Cvirka, S. Nėris, J. Marcinkevičius,

A. Gričius, V. Mozūriūnas, E. Mieželaitis, V. Drazdauskas, kai atvykdavo su reikalais į Maskvą. Be to, čia kurį laiką buvo prisiglaudę ir latvių rašytojai J. Sudrabkalnis, J. Niedrė ir kt.

Mes visi žinojome, kad tose patalpose, kur susispaudę gyvenome ir dirbome, atblokšti karo audros, palyginti dar gana neseniai kone ištisą dvidešimtmetį kasdien būdavo Baltrušaitis, eidamas čia atsakingas aukšto diplomato pareigas. Beje, buvo dar kalbama, kad šis ištaigingas keturaukštis namas iki revoliucijos priklausęs turtuoliams poeto uošviams bei visai jų pirkliškai šeimai.

Todėl mes dažnai įvairiomis dingstimis bei progomis prisimindavome Baltrušaičio vardą ir net bandėme ieškoti jo ilgamečio buvimo šiame name pėdsakų — tikėjomės gal dar rasią kokių jo asmeninių daiktų, knygų ar net rankraščių. Deja, jokių Baltrušaičio pėdsakų čia jau nebuvo likę.

Vienintelis vertas dėmesio daiktas, kurį pasisekė tada atsitiktinai surasti buvusios atstovybės daugiau negu kuklioje bibliotekoje,— tai Kauno Valstybinio teatro solistės V. Jonuškaitės koncertų (vykusių 1935 m. Maskvoje ir Leningrade) programa su keliolika Baltrušaičio išverstų į rusų kalbą lietuvių liaudies dainų bei mūsų poetų eilėraščių. Tačiau ir šis radinys karo meto sąlygomis neturėjo kiek aktualesnės reikšmės. Paskui toji programa vėl keliolikai metų buvo nelemtai užsimetusi, tad joje įdėtus Baltrušaičio vertimus, apie kuriuos net jo kūrybos specialistai nieko nežinojo, tegalėjau naujai paskelbti tik 1969 m. (žr. „Literatūra ir kalba“, t. X, p. 403—416), kai ir pas mus prasidėjo tolydžio didėjantis domėjimasis poeto literatūriniu palikimu.

Sia proga galiu paliudyti, jog ir Didžiojo Tėvynės karo metais prisiminimas apie Baltrušaitį tebebuvo gyvas Maskvos literatūrinėse sferose. Daugelis rusų literatų, su kuriais mums tada teko bendrauti, jau pirmos pažinties metu užsimindavo apie Baltrušaitį, kaip mūsų tautietį, teiraudavosi, kur jis, koks jo likimas. Deja, mes ir patys žinojome tik tiek, kad, kilus Europoje karui, jis buvo likęs Paryžiuje.

Baltrušaičio vardas ypač gyvai buvo prisimintas ryšium su K. Donelaičio „Metų“ 125-ųjų išleidimo metinių minėjimu, ku-

riam iš anksto intensyviai ruošėmės ir kuris įvyko Tarybų Sąjungos Rašytojų klube Maskvoje 1943 m. gruodžio 29 d. Tada buvo pareikšta prielaidų, ar tik nebus bandęs K. Donelaičio poemą versti į rusų kalbą ir Baltrušaitis? Kai kurie senesnios kartos maskviečiai literatai sakė seniau kažką apie tai girdėję, bet tiksliai nebeprisimeną. Ypač sudomino tuo klausimu pokalbis su rašytoju L. Leonovu, kuris net žadėjo pasiteirauti apie tai savo žmoną — žinomo leidėjo M. Sabašnikovo, kuris su Baltrušaičiu gerai pasižinojo ir buvo turėjęs kai kurių leidybinių reikalų, dukterį (Kaip rodo ne per seniai surasti Baltrušaičio laišakai, jis buvo net pasirašęs su šiuo leidėju sutartį parengti rusų kalba lietuvių liaudies dainų rinkinį). Sabašnikovų šeimoje,— teigė L. Leonovas,— dažnai buvęs minimas Baltrušaitis. Deja, šios kalbos bei paieškos tada nedavė nieko konkretaus. Tokie gandai buvo, greičiausiai, kilę dar iš anų laikų, kai Baltrušaitis pirmojo pasaulinio karo metais rengė spaudai lietuvių literatūros antologiją, kurią buvo numatęs išleisti M. Gorkis. Mums, deja, tada dar nebuvo žinomas tos antologijos rankraščių archyvas (surastas tik pokario metais), kuriame išliko ir K. Donelaičio „Metų“ vertimo fragmentai — bet jie atlikti Viač. Ivanovo, o ne Baltrušaičio. Tačiau jo vardo jungimas — net po tiekos metų! — prie šio vertimo akivaizdžiai rodo, kokį gilų ir patvarų atminimą apie save Baltrušaitis buvo palikęs rusų literatūriniame pasaulyje. Tas atminimas kai kuriais atvejais jau buvo virtęs čia savotiška legenda. Ji iš dalies tebėra kultivuojama iki šiol ir pas mus, Lietuvoje.

Norėtusi tikėti, kad šie keli atsiminimų fragmentai padės bent kiek sukonkretinti ir surealinti šią legendą.

Kostas Korsakas

* * *

Su Jurgiu Baltrušaičiu susitikti man teko tik vieną kartą, bet ir šis vienintelis susitikimas paliko gražų prisiminimą.

Dar gerokai prieš tai buvau jau skaitęs rusų kalba jo poezijos knygas — „Žemės Laiptai“ ir „Kalnų Takas“, atmintinai mokėjau B. Sruogos išaukštintą jo „Ramunėlę“, smalsiai sekiau

periodikoje pasirodančius jo naujus, jau gimtąja kalba rašytus eilėraščius, užrašinėju apie jį iš vyresniųjų žmonių nugirstus atsiminimus ir anekdotus. Deja, tie užrašai per karą žuvo.

Vis dėlto kai ką prisimenu. 1937 m. Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos konsulas Klemensas Prelgauskas man pasakojo (tą patį prieš kelerius metus Vilniuje girdėjau ir iš poeto Konstantino Balmonto dukters Ninos Konstantinovnos Bruni-Balмонт), kad prieš pirmąjį pasaulinį karą modernistai poetai buvo sukūrę tokią prieš Baltrušaitį nukreiptą epigramą:

Говорят, что фирма вырождается...

Утешайтесь!

Она снова в Москве рождается!

Балтрушайтис.

Atsimenu to paties K. Prelgausko anekdotišką pasakojimą apie Baltrušaitį, tiksliau, apie jo populiarumą Gruzijoje.

1919—1921 m. K. Prelgauskas buvo buržuazinėje Gruzijoje Lietuvos konsulu ir rūpinosi per karą ten atsidūrusių lietuvių grįžimu į tėvynę.

— Kartą įsibrauna pas mane,— pasakojo K. Prelgauskas,— į konsulatą keli gruzinų kunigaikščiai ir man pareiškia apgailėstavimą, kad aš vakar nebuvęs jų priėmime. Skubių darbų turėjau begales, o be to, kartais net privengdavau to pernelyg nulinksminančio gruzinų vaišingumo... „Gaila, labai gaila, kad vakar nesulaukėm jūsų, ponas konsule...— kalbėjo gruzinai.— Žinote, mes taip nabaltrušaitilis, kad net visi prie stalo užsnūdomė...“ Išgirdęs negirdėtą žodį „nabaltrušaitilis“, paklausiau, ką jis reiškia ir iš kur jis atsirado? Jie man taip paaiškino: „Iš kur jums, jaunuoli, žinoti. Pas mūsų tėvus, pas poetą Ceretelį, pas kunigaikštį Čavčavadžę ir kitus prieš karą atsilankydavo žymus poetas iš Maskvos Jurgis Baltrušaitis, rodos, jūsų tėvynainis. Mūsų tėvai su Baltrušaičiu, žinoma, gerokai išgerdavo gruziniško vyno. Ir štai toks tykus gėrimas vyno iki užmigimo pas mus dar ir dabar vadinamas „nabaltrušaititsia“.

1959 ir 1967 m. lankydamas Tbilisyje vieną kitą gruzinų rašytoją klausinėju, ar dar gyvas šis žodis. Niekas jų neatsi-

minė, tik pajuokavo: „Pas mus neliko kunigaikščių, ir jie, matyt, su savim nusinešė šį žodį...“ Sic transit gloria mundi!*

Su Baltrušaičiu susitikti teko Kaune, „Metropolio“ viešbutyje, 1938 m. rudenį, kai jis, perdavęs Maskvoje pasiuntinybę naujam Lietuvos pasiuntiniui, išėjo į pensiją ir ruošėsi išvykti į Paryžių pas savo sūnų — taip pat Jurgį Baltrušaitį, — meno tyrininką, dabar žymų Sorbonos universiteto profesorį.

Tų metų Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas L. Gira viename valdybos posėdyje papasakojo, kad Baltrušaitis, išvykdamas į Paryžių, pažadėjęs padovanoti Draugijai dalį savo bibliotekos. Ta proga valdyba (tada buvau jos vicepirmininkas) nutarė suteikti Baltrušaičiui Lietuvių rašytojų draugijos garbės nario vardą ir L. Girą su manim įgaliojo įteikti poetui aukso raidėmis gražiai dailininko parašytą diplomą.

Baltrušaitį radome „Metropolijoje“, apsisvertusį dėžėmis ir lagaminais, besiruošiantį kelionei. Jis labai oriai, bet šiltai mus priėmė, atsiprašė už netvarką, siūlėsi pavaišinti, bet mes atsiskėmė, nenorėdami trukdyti. Čia pat L. Gira perskaitė diplomo tekstą, ir įteikė jam tą raštą. Poetas šiltai padėkojo ir pasakė:

— Dabar aš jau visados būsiu su jumis.

Baltrušaičio paprašyti, trumpam susėdome į fotelius, o jis liko stovėti prie stalo, apkrauto iš Kauno knygynų surinktais naujais leidiniais. Iš už knygų krūvos tebuvo matyti jo galva ir pečiai. Aš įdėmiai stebėjau romų, senatviškai paputusias paakiais, savotiškai niūrų, šaltą kaip monumentas jo veidą ir tik klausiausi lėtos jo kalbos.

— Kaip matau, maestro, jūs visas mūsų literatūrinės naujienas jau susirinkote, — tęsė pokalbį L. Gira.

— O kaipgi? Ir man reikia žinoti, ką rašote, kaip rašote... Juk aš per tiek metų atsilikau nuo jūsų, — lėtai, negarsiai, dusloku balsu kalbėjo Baltrušaitis ir pakėlė Fausto Kiršos eilėraščių knygą „Maldos ant akmens“.

— Kaip jums, maestro, patiko mūsų Kirša? — paklausė L. Gira.

* Taip praeina pasaulio garbė (lot.). Red.

— Ką gi... gerai, kad rašote... Reikia rašyti. Mums reikia daug ir gerų knygų... Ir Kiršos knyga neblogo, tik man jos pavadinimas nepatiko... Aš ją, tur būt, būčiau pavadinęs „Akmuo ant maldu“...— ir iš lėto, pagarbiai padėjo knygą atgal į tą pačią vietą.

L. Gira, užvertęs savo barzdelę, ilgai kikenė, o aš, visai užsimiršęs, kad esu šio sfinkso atsitiktinis svečias, kaip tikras aukštaitis pratrūkau kvatoti... Ir ilgai, jau prikandęs lūpą, dar tirtėjau fotelyje. Baltrušaičio veidas, atrodo, nė kiek nepasikeitė, tik, šypsenos šešėliui juo perbėgus, poetas pažvelgė į mane šiltu žvilgsniu. Gal tai buvo mano aukštaitiško protrūkio bičiuliškas sudrausminimas, o gal visai ir ne šypsena...

Mes pakilome atsisveikinti, padėkojome už pažadėtą dalį bibliotekos ir palinkėjome sėkmingos kelionės. Poetas oriai kaip patriarchas, šiltai paspaudęs mums rankas, palydėjo į koridorių.

Dar ir gatvėje abu su L. Gira ilgai prunkštavome iš jo sąmojo.

— Tai va koks Baltrušaitis! Aš kaip tik norėjau, kad tu jį pamatytum! — tarė man L. Gira.

— Labai jums dėkingas, pirmininke. Bet juk tai trumpiausia, kokią kada girdėjau,— vos trijų žodžių! — knygos recenzija!.. Ir kokia taikli! — pasakiau L. Girai.

Sis pirmasis ir paskutinis susitikimas su Baltrušaičiu man paliko didelį įspūdį, o jo sąmojis — kaip trumpiausia knygos recenzija — darė didelį poveikį tolesniame mano kūrybos kelyje.

Vilnius, 1973.VI.17

Jonas Graičiūnas

* * *

Nedaug ką galiu pasakyti apie poetą Jurgį Baltrušaitį, kadangi tik vieną kartą teko su juo susitikti. Apie jį jau 1913—1914 m. buvau girdėjęs iš parvykstančių atostogų Maskvos studentų J. Lukošiaus, E. Draugelio, Grajausko ir kt. Jie pasakojo, kad Maskvoje gyvenęs įžymus poetas lietuvis Baltrušaitis, bet rašęs ne lietuviškai, o rusiškai. Tačiau jis esąs neišdidus

ir mėgstas bendrauti su lietuviais, ypač patenkintas, kai lietuviai studentai jį aplankę. Baltrušaitis pirmą kartą sutiktą lietuvių studentą ar kitą žmogų vis klausiąs: „Gal iš Skirsnemunės esi?“ Kai šis pasakęs, kad ne iš Skirsnemunės, tai dar paklausiąs: „Gal iš Jurbarko?“

Pasak minėtų studentų, jiems atrodę, kad Baltrušaitis labai pasiilgęs savo tėviškės. Tai gal patvirtina ir jo vėliau išspausdintas lietuviškas eilėraštis, kuriame su didele meile kalbama apie tėviškės vargingą lūšnelę.

Minėti studentai nebuvo literatai, studijavo kas teisę, kas mediciną ar techniką, todėl su Baltrušaičiu artimesnių santykių neturėjo, tačiau jo kultūrine ir literatūrine veikla, matyt, domėjosi ir, parvažiavę Lietuvon, savo įspūdžiais dalinosi. Jie dar sakė, kad Baltrušaitis esąs nekalbus, žodį tausojęs, be reikalo netariąs.

Daug artimesnius santykius Baltrušaitis palaikęs su studentais literatais — B. Sruoga, I. Šeiniūn ir kitais, kurie jau tada pasiskardeno kaip rašytojai. B. Sruoga labai gerbė Baltrušaitį. Nebeatsimenu, kuria proga yra man sakęs, kad Baltrušaitis jį ir kitus lietuvius studentus Maskvoje globojęs, ne kartą jiems padėjęs.

Tik praėjus 27 metams nuo to laiko, kai pirmą kartą išgirdau apie Baltrušaitį, teko asmeniškai su juo susitikti. Tai buvo 1940 m. anksti pavasarį, kovo ar balandžio mėnesį. Tada dirbau „Sakalo“ knygų leidykloje. Sužinojęs, kad iš Paryžiaus į Kauną yra atvykęs Baltrušaitis ir apsistojęs „Lietuvos“ viešbutyje, tuojau pat pasišoviau nueiti pas jį ir paprašyti, kad duotų savo poezijos rinkinį „Sakalui“ išleisti. Eidamas galvojau, kaip turėsiu kalbėti, kad nesutrikčiau. Juk einu pas visai nepažįstamą žmogų, pas didelį diplomata ir dar didesnį poetą. Juk tai ne koks nors paprastas konsulas iš Tilžės ar Hamburgo, bet buvęs Lietuvos pasiuntinys — ambasadorius Maskvoje, buvęs Rusijos rašytojų sąjungos pirmininkas. Nuėjęs ir iš šveicariškos sužinojęs kambario numerį, paskambinau. Duris atidarė aukštas, stambokas vyras, rūsoto veido, bet akys nepiktos, apsirengęs tamsiai rudu kostiumu ir su skrybėle, matyt, pasiruošęs išeiti. Atsiprašiau už trukdymą, pasisakiau, kas esąs ir

ko atėjęs. Padavė ranką ir paprašė sėstis. Atsisėdome ir trumpą valandėlę abu tylėjome. Kadangi buvau pasisakęs, ko atėjau, maniau, kad man nedera pirmam pradėti kalbą, ir laukiau, ką pasakys šeimininkas, o jis, matyt, laukė, ką aš toliau sakysiu. Nesulaukęs jo žodžio, pakartojau prašymą, kad duotų „Sakalui“ išleisti savo poezijos rinkinį. Baltrušaitis kiek pagalvojęs paklausė: „Ar išleistumėte?“ Atsakiau: „Išleisime, prašome duoti rankraščius“. Jis dar kiek pamąstęs pasakė: „Dabar dar neturiu galutinai paruošęs, bet ne ilgiau kaip po dviejų mėnesių atsiųsiu“. Sakė, paruošiąs eilėraščių rinkinį ir pavadinsiąs jį „Ašarų vainiku“. Be to, dar minėjo, kad rašęs ir lyrinę poemą (pavadinimo nebeatsimenu). Aš dar paaiškinau, kad didelio tiražo nežadame, nes tuomet Lietuvoje poezijos knygų nedaug teispirkdavo. Atsakė: „Žinau“. Nė nepaklausė, kiek honoraro mokėsime. Dar paklausiau, gal autorius pats pasirinktų dailininką, kuriam galėtume užsakyti rinkiniui viršelį ir inicialus eilėraščiams. „Apie tai paskui“,— pasakė. Tuo mūsų kalba baigėsi, ir atsisveikinome.

Išėjęs iš viešbučio, nuėjau tiesiai į „Varpo“ spaustuvę, kur buvo spausdinami kai kurie „Sakalo“ leidiniai. Ta proga užėjau į „Lietuvos žinių“ redakciją ir pasigyriau J. Šimkui, literatūrinio skyriaus redaktoriui, kad „Sakalas“ greit išleisiąs Baltrušaičio lietuviškos poezijos rinkinį. J. Šimkus apsidžiaugė ir pasakė tuoj pat šią naujieną paskelbsiąs „Lietuvos žiniose“. Tą pačią dieną pasakiau šią žinią ir Lietuvių rašytojų draugijos tarnautojui bei literatūros žurnalo „Dienovidis“ administratoriui Danui Pumpučiai.

Redaktoriai, matyt, sukruto ir ėjo patys prašyti autoriaus, kad savo poezijos duotų ir periodikai. Netrukus, rodos, jau balandžio mėn. pradžioje, Baltrušaičio eilėraščiai buvo išspausdinti „Lietuvos žiniose“ ir „Dienovidyje“. Ir vėliau „Lietuvos žinių“ literatūriniame skyriuje beveik kiekvieną šeštadienį iki 1941 m. birželio 15 d. buvo spausdinama po vieną ar daugiau Baltrušaičio eilėraščių.

Baltrušaičio rankraščių „Sakalas“ jau nebesulaukė. „Ašarų vainiko“ I dalies ir poemos vaikams „Įkurtuvės“ rankraščiai buvo atsiųsti naujai įkurtai LTSR Valstybinei leidyklai, rodos,

asmeniškai direktoriui K. Korsakui, bet ir tada dėl prasidėjusio karo nespėta jų išleisti. Jie buvo išleisti Valstybinės leidyklos tik 1942 m.

1943 m. rudenį, kai „Sakalas“ vėl buvo pradėjęs leidimo darbą, parašiau Baltrušaičiui laišką ir aplinkiniais keliais nusiunčiau į Paryžių senu adresu. Prašiau autorių, kad atsiųstų „Ašarų vainiko“ II dalies ir kitus rankraščius, kuriuos žadėjome išleisti drauge su I-ąja dalimi ir B. Sruogos straipsniu žymiai didesniu tiražu, ne mažiau kaip 10 000 egz. Autorius gal nebesusigaudė, kas yra tas „Sakalas“ ir kas ta Valstybinė leidykla, todėl 1944 m. pradžioje „Ašarų vainiko“ II d. rankraščius ir I dalies pataisymus atsiuntė Antanui Miškininui drauge su laišku, prašydamas pasirūpinti jų išleidimu. A. Miškinis visus rankraščius perdavė „Sakalui“. Tuojuo juos atidavėme „Šviesos“ spaustuvei rinkti. Dail. Jonas Steponavičius nupiešė viršelį ir inicialus, padirbdinome klėses, ir pilnas „Ašarų vainiko“ leidinys buvo paruoštas spaudai. Tik laukėme vokiečių cenzūros leidimo ir popieriaus. Rinkinį su klėšėmis ir rankraščiais „Sakalas“ 1944 m. rudenį perdavė vėl atkurtai LTSR Valstybinei leidyklai. Tai ir buvo ta nespėjusi išeiti knyga, kurią V. Kubilius mini 1967 m. išleistoje Baltrušaičio lietuviškoje „Poezijos“ knygoje (p. 323).

1944 m. pavasarį, jau po autoriaus mirties, buvo iš Paryžiaus į Kauną atvažiavęs jo sūnus, irgi Jurgis. Apsilankė ir „Sakale“. Parodėme jam jau paruoštą su klėšėmis pilną „Ašarų vainiką“, korektūras ir sutarėme, kur siųsti autoriaus egzempliorius, kai knyga bus išspausdinta.

Kaunas, 1973.V.26

Antanas Kniūkšta

TRUMPAI APIE AUTORIUS

Nina Konstantinovna Bruni-Balmont (g. 1901) — rusų poeto K. Balmonto duktė, gyv. Maskvoje.

Petras Klimas (1891—1969) — teisininkas ir istorikas, Lietuvos diplomatas (1925—1940).

Juozas Urbšys (g. 1896) — Lietuvos diplomatas 1922—1940, prancūzų literatūros vertėjas, gyv. Kaune.

Alfonsas Simėnas (g. 1899) — pedagogas ir literatas, gyv. Kaune.

Janina Išoraitė-Aleknienė (g. 1894), gyv. Kaune.

Salys Semerys (g. 1899) — pedagogas ir poetas, gyv. Klaipėdoje.

Eugenija Babrauskaitė-Zvironienė (g. 1904) — tarnautoja, gyv. Kaune.

Justas Paleckis (g. 1899) — visuomenės ir valstybės veikėjas, rašytojas, žurnalistas, gyv. Vilniuje.

Antanas Kakarėnas (g. 1883) — kolūkietis, gyv. Šiaulių raj. „Energijos“ kol.

Kostas Korsakas (g. 1909) — literatūros tyrinėtojas, kritikas, poetas, Lietuvos TSR MA akademikas.

Jonas Graičiūnas (g. 1903) — poetas, vertėjas, gyv. Vilniuje.

Antanas Kniūkšta (g. 1892) — spaudos darbuotojas, gyv. Kaune.

A. BELO RANKRAŠTIS APIE J. BALTRUŠAICIO LYRIKĄ

Parengė V. KUBILIUS ir D. STRAUKAITE

1972 m. pradžioje Lietuvių kalbos ir literatūros institutas įsigijo savo Rankraštynei Andrejaus Belo (Белый, 1880—1934) 35 puslapių rankraštį, antrašte „Ex deo nascimur“. Jis buvo rastas Belo asmeniniame archyve, kurį oficialiai paveldėjo maskvietė E. Neveinova. Lietuvos TSR Teisingumo ministerijos Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutas, sulyginęs rankraštį su žinomais Belo autografais, patvirtino jo autentiškumą. Įrodžius autorystę, rankraštis įsiteisina kaip svarbus literatūrinis dokumentas, nušviečiantis žymiausio rusų simbolizmo teoretiko, jaunosios rusų simbolistų kartos žymaus poeto ir prozininko santykį su Jurgio Baltrušaičio lyrika.

Belas susipažino su Baltrušaičiu, matyt, 1902 m. savo bičiulio ir globėjo M. Solovjovo namuose per vakarienę, suruoštą Merežkovskių garbei¹. J. Tumelis, komentuodamas rusiškuosius Baltrušaičio eilėraščius, nurodė ankstesnę jų pažinties datą — 1900 m. pradžią, deja, nepateikęs šaltinio². Nuo to laiko jiedu nuolat susitikdavo įvairiuose literatūriniuose subuviimuose V. Briusovo, K. Balmonto, paties Belo, taip pat Baltrušaičio namuose, ypač „Skorpiono“ leidykloje (1910—1916), leidusioje naujausią Vakarų literatūrą ir rusų simbolistų kūrybą. Jie kartu su V. Briusovu, L. Kobilinskiu, S. Solovjovu priklausė pagrindiniam žurnalo „Vesy“ (1904—1909) organizatorių branduoliui. Kai prasidėjo šios simbolistų grupės skilimas, Baltrušaitis stėjo Belo pusėn. Savo atsiminimų knygoje „Amžiaus pradžia“ Belas su meile ir pagarba nupiešė Baltrušaičio portretą, vadindamas poetą „Gudruoliu, nepaisant niūraus žvilgsnio“, „dievo karvute“ dėl jo ramybės, „laukų poetu“, kuris ir kambaryje jausdavosi kaip po atviru dangumi, tarsi viršum jo būtų buvusios pralaužtos lubos³. Savo laiške Belui Baltrušaitis 1904 m. rašė: „Aš ne tik manau, bet dažnai ir jaučiu, kad mes su Jumis — giminingos, artimos sielos“⁴.

¹ А. Белый. Начало века. М.—Л., 1933, p. 185.

² Ю. Балтрушайтис. Дерево в огне. Вильнюс, 1969, p. 519.

³ А. Белый. Начало века, p. 205, 381, 382.

⁴ Laiško fotokopija.— LKLI BR Nr. 423.

Sukūręs pagrindinius simbolizmo teorijos darbus, keletą kritikos knygų, kapitalinę rusų metro ir ritmo studiją, davusią pradžią rusų formalizmo mokyklai⁵, Belas niekur specialiai nenagrinėjo Baltrušaičio lyrikos. Rankraštis „Ex deo nascimur“ — tai pagrindinės tezės ir sugrupuota medžiaga studijiniam straipsniui, matyt, panašaus užmojo ir apimties, kaip Viač. Ivanovo „Jurgis Baltrušaitis kaip lyrinis poetas“⁶. Belas susistemino Baltrušaičio lyrikos vaizdus bei simbolius, komentuodamas juos simbolizmo teorijos ir vokiečių filosofo-mistiko R. Stainerio (Rudolph Steiner, 1861—1925) antroposofijos požiūriu. Šio darbo metodologija remiasi būdingomis rusų simbolizmui tezėmis: poezijos branduolys nepriklauso nuo laiko; poetas yra būties vientisumo reiškėjas; menas savo esme giminingas religijai. Todėl Belas Baltrušaitį apibūdino kaip religinį poetą. Tačiau V. Daujotytė savo disertacijoje „Jurgis Baltrušaitis“ (apginta 1972 m.) šį teiginį, pasikartojantį ir Viač. Ivanovo straipsnyje, pagrįstai paneigė. Belo rankraštis, kad ir nepriimtinas savo metodologiniais pagrindais, įdomus kaip tam tikros istorinės-literatūrinės epochos mąstysenos dokumentas ir dėl Baltrušaičio lyrikos aukšto įvertinimo. Šis tyrinėjimas juo labiau vertas dėmesio, kad autorius, jį ruošdamas, buvo sudaręs kai kurių Baltrušaičio eilių struktūrines schemas, artimas šiuolaikiniams struktūralistų darbams*.

Rankraštyje nepamėta parašymo data. Kadangi Belas analizuoja abi Baltrušaičio eilėraščių knygas — „Žemės Laiptai“ (1911) ir „Kalmų Takas“ (1912), vadinas, straipsnis galėjo būti pradėtas, tik išėjus antrajai knygai, gal būt, tebesant autoriui užsienyje, kur jis išbuvo iki 1916 m. Citata iš R. Stainerio, kuriuo Belas buvo liguistai susižavėjęs kelionių po užsienį metu⁷, rankraščio apmatus tarsi įstato kaip tik į šio laikotarpio Belo ieškojimų ir klaidžiojimų logiką. Teorines simbolizmo premisas, kuriomis grindžiamas rankraštis, patvirtina 1916 m. deklaruota Belo ištikimybė srovei, kurios jis tvirtai laikęsis, būtent rusų simbolizmui⁸. Tačiau visiškai įmanomas dalykas, kad rankraštis galėjo būti pradėtas ir 1918—1919 m., kai abu poetai ypač dažnai susitikinėjo ir glaudžiai bendradarbiavo Tarybų Rusijos Liaudies švietimo komisariato Teatro skyriaus veikloje. Rankraščio rašyba, daugumoje puslapių senoji ir tik pabaigoje netekusi kietinimo ženklų, liudytų, kad rankraštis atsirado pereinamajame rusų rašybos reformos lai-

⁵ Краткая литературная энциклопедия, V. М., 1968, p. 448.

⁶ Išspausdintas leid. «Русская литература XX века», т. II (1914) ir lietuviškai pakartotas „Židinys“, 1932, Nr. 3.

⁷ Т. Хмельницкая. Поэзия Андрея Белого. — Кн.: А. Белый. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1966, p. 44—45.

⁸ Žr. А. Белый. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. М., 1917, p. V.

* Apie šias schemas žr. T. Venclovos straipsnį šio leidinio p. 449. Schemų originalus Lietuvių kalbos ir literatūros institutas yra įsigijęs kartu su čia spausdinamo Belo straipsnio rankraščiu. Red.

kotarpyje. Neturint Lietuvoje didesnio skaičiaus Belo autografų, šį rankraštį tenka žymėti apytiksle 1915—1920 metų data.

Belo rankraštis nelengvai įskaitomas: skirtingos raidės supanašėję, atskiri žodžiai neužbaigti, kai kur žodžiuose praleistos raidės, o papildomos nuorodos sunkiai įspėjamos dėl autoriaus kultūrinių asociacijų netikėtumo.

Rengiant rankraštį spaudai, buvo patikrintos ir sukoreguotos Baltrušaičio eilėraščių citatos, ištaisytos klaidingos nuorodos, pateikti citatų šaltiniai ten, kur jie nebuvo pažymėti. Kartais iš cituojamos strofos Belas praleidžia atskirus žodžius ar eilutes, sulieja dvi eilutes į vieną ištisinį sakinį. Toks citavimo būdas, atspindįs tyrinėtojo mintį, liko nepakeistas, bet praleidimai pažymėti daugtaškiu lenktiniuose skliaustuose. Nekeista ir savotiška Belo punktuacija bei simbolistams būdinga didžiųjų raidžių vartoseną, išskyrus porą išimčių. Praleistos raidės, sakinio pabaigos ženklai bei kitos teksto korektūros, darytos parengėjų, pateikiamos laužtiniuose skliaustuose. Abejotinai išskaitytos ar neiššifruotos vietos pažymėtos klaustuku laužtiniuose skliaustuose.

EX DEO NASCIMUR¹

Утро

Светает близь... Чуть дышит даль, светая...
Встает туман столбами, здесь и там...
И снова я — как арфа золотая,
Послушная таинственным перстам...

(Г.Т. 91)

День его — начинается утром, которое — «рассветный пир» (З.С. 24). Час рассвета — «Великий час! Лучистая заря Стоцветный веер свой раскрыла на востоке» (З.С. 12).

И жемчужной толпой, в поясах из огня,
Расступаются туч караваны...

(З. С. 11)

И звук за звуком, дрогнув в тишине
(З.С. 12)

И разбилась, как звонкий сосуд, тишина
В ликовании утра великом...

(З.С.11)

Грезы рассветные — гимн мирозданию,
Солнечным пламенем сердцу подсказанный.

(З.С. 19)

Утро поэта ясное, светлое:

Солнце в светящем небе
(Г.Т. 12)

Оно выявляет в душе у поэта видение храма:

Мелькает некий Храм святой
Сквозь дым времен...
От мира огненной чертой
Он отделен...

Его святые алтари —
Как звездный щит,
Где ярче утренней зари
Потир горит...
(Г.Т. 35)

Искрятся мгновенья
В ранней тишине...
Миг прикосновенья
К дремлющей струне!
(Г.Т. 117)

«Душа — струна» восстание света дневного вызывает в душе у поэта видение «Храма святого».

Светает близь... Чуть дышит даль, светая...
Встает туман столбами, здесь и там...
И снова я — как арфа золотая,
Послушная таинственным перстам...
(Г.Т. 91)

В дали святой выступает — свет; и — неизъяснимая, небесная, летняя, я бы сказал июльская синева; в близях первое, что бросается нам — это земля, которую любит поэт. Его земля покрыта росой [:]

В росистый круг земли, раскрывшийся, как чаша,
(З.С. 12)

Земля его появляется «сверкнув росой на каждом горном склоне» (З.С. 21) [.]

Оросятся поля, утолится земля,
(З.С. 24)

Его земля — орошенная утром: вся влажная []

Туч серебристых проходят громады,
Землю дождем напоив...
(З.С. 77)

И земля и небо были как венец,
Радостно замкнувший счастье двух сердец...
(З.С. 157)

Его земля — светлая: место соединения человеческих душ:
орошенность ее — предвестие вёдренного, жаркого счастли-
вого дня: и день ее освещает, протягивая солнечное золото:

Золотые промежутки
Протянулись по земле...
(З.С. 26)

Пыль великая, земная,
Не взрывайся близь меня, —
Дай мне ярче, в утро мая,
Осениться светом дня...
(З.С. 51)

Тишь... Безмолвие лесное...
Безмятежен ранний день, —
Лист не дрогнет в ровном зное,
Ни узорчатая тень...

Вдоль тропинки, незабудки
Притаились в полумгле, —
Золотые промежутки
Протянулись по земле.
(З.С. 26)

С темным вздохом земли...
(Г.Т. 19)

Отношение к ней молитвенное:

Звонко в горячей молитве хвали
Алую розу, нарядность земли,
(Г.Т. 87)

Земли его суть ступени пути: это горные тропы в сиянии
храм мироздания. И оттого то четырем сторонам горизонта
поэт кладет земной поклон, как четырем апокалиптич[еским]

духовным животным в стих.[отворении] «Поклонение земле» [:]

Земной поклон стране восточной...
[.....]
Хвала безоблачному югу
[.....]
Хвала [...] безмерной дали
Великих западных миров
[.....]
Хвала [...] звездному простору [...] северных полей,
[...] и целую
С земным поклоном прах земной...
(З.С. 53—54)

По этим «горным ступеням» восходит поэт, — в день;
его жизнь — прохождение днем, залитым солнечным светом.
Светлый день — летний день! Он залит небом и светом [.]

Льются волны венчального света
В беспредельный простор без конца,
Чтобы вспыхнуло празднество лета
И на ниве и — в сердце жнеца!

В ликовании кубков заздравных,
На великом рассветном пиру,
Нет у знойного солнца неравных,
Невплетенных в живую игру, —

То, что вспыхнуло в сердце усталом,
То, что солнце зажгло в небесах, —
Трепетанье в великом и малом,
Равновесно на вечных весах, —

Всюду, Утро, безмерно и щедро
Воспылало Твое торжество —
Да расторгнутся темные недра
Благодатью луча Твоего!

(З.С. 24—25)

«Светло — бурна безбрежность вод» (З.С. 18) его жизни,
по которой несет его парус пути.

Мой парус — из яркой парчи!
(З.С. 16)

Бесконечно шумна световая волна,
Где, в жемчужном венце, голубеет весна...
(З.С. 23)

Горная тропа земных ступений — в свете: к свету — из
вечного света: в свет вечный [:]

Плетусь один, безлюдным перевалом,
Из света в свет — сквозь свет [...]
(Г.Т. 15)

[...] Все — свет, и сам я [...] свет...
(Г.Т. 76)

[...] В мой разум [...]
Входит светом пенье грез.
(Г.Т. 77)

Жарче на малую искру молись!
(Г.Т. 87)

Говорит Б[алтрушайтис]: у него культ света: и потому то
его свет — свет дня: день его — день сознания, соединенного с
жизнью: сознание соединенное с жизнью есть жизнь: все
иное не жизнь: так у Пушкина (Да здр.[авствует] Солнце!
Да скроется тьма!). У Л. Толстого; у Ю. Балтрушайтиса.
Любовное отношение к земле [:]

Празднуй и малость песчинки земной...
(Г.Т. 87)

Многоверстно и глубоко
Врылась в землю колея, —
Протянулась, одиноко,
К дымным далям бытия...
(З.С. 110)

Его земля путь: не земля, а земные ступени — в день [:]

Волей жизни, роковою, (Земля дорога)
В даль откинулась она...
Над дорогой кочевою —
Синева и тишина...
(З.С. 110)

Его земля — земля дневная, земля святая, как и день,
который — свет: не повер[х] ность свечения, а сам свет: свет
духовный, фаворский², сознательный, умный и божий; та-
кою ж живую и божьей, духовной стоит нам земля Б[алтру-
шайтиса] [.]

Земля, наш ад — наш рай, наш рай — наш ад!
(Г.Т. 82)

Тянется сердце к богу
(Г.Т. 19)

Он — поэт дня.

Его день «пригожий» (З.С. 13) «Брызжет золотом лучей
В мире дымном светлым гимном Дышит шире, горячей...»
(З.С. 13)

Раскрывая, развевая
Вереницы облаков,
Зсленеет, голубеет
Морем льна и васильков...
(З.С. 13)

Простор! Раздолье дикое!
Безмерна глубь небес...
День — таинство великое,
День — чудо из чудес...
(З.С. 33)

[...] Свой [...] храм [...] Светло раскинул день, —
(З.С. 44)

Дай мне ярче [...] Осениться светом дня...
(З.С. 51)

Взметнув высоко вал свой гневный,
Победный миг, великий миг,
Венчанный волею напевной,
Бросает в воздух гордый крик
О том, что ярко луч полдневный
В него сиянием проник...
(З.С. 59)

В этот день = жизнь, день = свет, день = разум плывет поэт
на жизненных волнах:

В безбрежность дня
Один плыву —
В кольцо огня,
Сквозь синеву!

(Г.Т. 61)

Сверкает в доле человека —
Живое пламя — чудо дня!

(Г.Т. 100)

В каждом взгляде полдень светит,
(Г.Т. 116)

Но рог, зовущий тайну к яви,
Все звонче пел,
И дрогнул мир в лазурной славе,
И день вскипел...

(Г.Т. 14)

День для него воплощение тайны: сама тайна, а не ковер
накинутый над бездной: Б[алтрушайтис] — поэт просвет-
ленья. В свет[е] дневном для него свет мысли: свет мыслен-
ный божий свет: день — божья мысль.

И снова дух, как пилигрим опальный,
Восходит в храм пророческой Молвы,
Где ширь земли — как жертвенник венчальный
Под звездным кровом бога синевы, —

И где, вне смерти, тает в кротком свете,
В жемчужных даях бездны золотой,
Вся явь вещей и бранный труд столетий,
Как легкий дым кадиланицы святой...

(Г.Т. 16)

Воистину волшебный день: что освещает его так волше[б]-
но: «Я» — самосознание; это «Я» божественно у Б[алтрушай-
тиса]. Его «Я» плывет

В кольце огня,
Сквозь синеву!
(Г.Т. 61)

Wär' nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt' es nie erblicken;
Läg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt' uns Göttliches entzücken?²³

Из «Я» бьет источник света поэта:

И солнце и море — во мне...
(З.С. 15)

Но это «Я» — космическое: оно живет, как «Я» большое в «Я» малом: малое «Я» ощущает это «Я», как глубь лазурную в себе:

Над глубиью лазурной, не знающей дна,
Я сам — кочевая волна...

Пирую, кружусь на пиру световом,
Как искра в пожаре живом...
(З.С. 15)

«Я» малое живет, как в храме в «Я» большом:

Мой светлый храм — в безбрежности
Развернутых степей,
Где нет людской мятежности,
Ни рынков, ни цепей, —
(З.С. 28)

Лучи этого «Я» в самосознании поэта: «лучи лучей» — мысли: Б.[алтрушайтис] поэт мысли; она у него не абстрактная[,] а живая; она слита с жизнью: она — есть жизнь собственно:

Мысль.

Только вникни, только мысли,
Все узнаешь, все поймешь!
(З.С. 27)

Я в светлом море плаваю,
Мой парус — мысль моя!
(З.С. 34)

И близко разуму раскрытие завесы...
(З.С. 113)

Этот Разум — разум соединяющий малое «Я» и природу в «Я» бога:

[...] В мой разум [...] Входит светом пенье [...]
(Г.Т. 77)

Этот Большой Разум истекает из бога.

Он тайною вечной
Мой разум зажег
И зов бесконечный
Вложил в мой рожок...
(Г.Т. 10)

Да гордый ум. Вне смертных уз...
(Г.Т. 62)

Мыслю все чаще
В свете мгновенья—:
Выше и слаще
Путь отреченья!
(Г.Т. 23)

Блажен, кто снег познания призывает
На праздный жар и шум!
(Г.Т. 66)

От личного «Я» [,] Мысль Б. [алтрушайтиса] — космическая:

И сколько б дум сознание ни включало
В свой детский счет, их мера — лишь начало
Безмерности, где молкнут времена,
Как легким вихрем взрытая волна...
(Г.Т. 30)

В этом Разуме=Свете, освещающем из «Я» поэта мир окружения [,] пересекае[ю]тся обычные абстр.[актные] мысли и обычная матер.[иальная] природа: в Иное Сознание.

Все пенье наших дум и слов,
Наш смертный жар,
В хвале его колоколов —
Один удар...
(Г.Т. 35)

Этот «Он» — «Я» внутреннее, которое гласит из [?] поэта:

Все — свет, покой,
В моем кругу,
(Г.Т. 62)

Это «Я» — творческое: оно досоздает сам божий мир во круг, и «Я» личное в пути жизни — в пути самосознания.

Божий мир еще не создан,
Недостроен божий храм, —
Только серый камень роздан,
Только мощь дана рукам.
(З.С. 85)

Самое ограниченное «Я» для этого Я как природа среди природы: она — недосозданный материал: оттого то на вершине самосознания поэта, в природе сознания снимается противоречия «я» и «мы».

Меж мной и вселенною, в час полноты,
Не стало раздельной черты...
(З.С. 16)

Что высь — что дол — что даль — что близь, —
(З.С. 18)

Мир — Я, Я — мир, но все это не угашение «Я», а вос-
стание «Я» большого [.]

[...] Ясен мир [...]
(З.С. 35)

Только вникни, только мысли,
Все узнаешь, все поймешь!
(З.С. 27)

«Горная тропа» роста самосознания превращает самые «земные ступени» с их утрами, днями — в путь самосознания [.] Отсюда особенное отношение у поэта к внешнему миру: внешний мир его — часть храм[а] познания «Я»; один алтарь его; другой алтарь — мир внутренний.

Как в радостном храме, Блуждает мой взор...
(Г.Т. 9)

В даях вселенной Встретит [...] Свет неземный
(Г.Т. 24)

Мелькает некий Храм святой
Сквозь дым времен...
(Г.Т. 35)

Близится ночь к рассвету...
Ясен шелест листвы...
Строится стебель к цвету,
Цвет лишь ждет синевы...
(Г.Т. 19)

Синева — взгляд синего «ока» Большого «Я» [.] глядя-
щего из очей:

Все — сон, все — свет, и сам я — лунный свет,
И нет меня, и будто мира нет!

(Г.Т. 76)

Сюда (А)⁴

Но это не мрак уничтоженья, а восторг братанья: мысли
«творчески сказанные миру»[:]

Падай пред солнцем, раскрывшим свой зной,
Славь и величие бездны ночной,

(Г.Т. 87)

Это все потому, что

Сколько в мире бренной твари,
Богом замкнутых миров!

(Г.Т. 129)

Отношение к миру есть сознательный гимн; поэт кладет
братский поклон миру: мир — мир есть жизнь; жизнь — со-
знание: оттого то сознательно, мудро, глубокое проникнове-
ние и оправдание жизни: (обычной, дневной, запыленной):

Жизнь

Жизнь для него — «чудо жизни» (З.С. 14), «Живая хва-
ла бытию» (З.С. 15). Бытие есть бытие самосознающего «Я»,
примиряющего природу стихий и стихию сознания личного:
Брюсов говорит:

Так путник поср. [едине] луга,
Куд.[а] б[ы] он не кин.[ул] взор,
Всегда преб. [удет] в центре круга:
И будет замкнут кругозор⁵.

Замкнутые кругозоры лишь могут завести в тупик меха-
нич.[еского] коллективизма⁶ душу поэта; для Б.[алтрушай-
тиса] кругозоры не замкнуты: жизнь — читаемая книга.

Гылает грудь моя
Молитвой благодарственной
За чудо бытия...

(З.С. 28)

[...] Все мой дух вооружает
Живым доверьем к бытию...
(З.С. 35)

Славься в жизни, каждый жребий!
(З.С. 37)

Пусть твоя земная ноша	Брюсо[в] говорит [:]
Будет сладко тяжела...	И сквозь пальцы мудрость мира
(З.С. 38)	Уплывает как вода
Веселая земная доля	И восторг горящий пира
В час тревоги грозовой...	Исчезает без следа ⁷ .
(З.С. 41)	

Там, где

Сумрачны, извилисты
Русла бытия!
(З.С. 68)

Самосознание есть

В колыбели илистой —
Светлая струя...
[.....]

Только вспыхнет сладостно
В пене яркий луч
Да волеется радостно
Чистый божий ключ, —
(З.С. 68)

Жизненные качели судьбы, паденья и взлеты не пугают поэта:

Светло и раздольно
Паденье с размаха...
И сладко и больно
От счастья, от страха...
(Г.Т. 43)

Жизнь — Галера; рок — Кормчий.

Мощью, не знающей меры,
В море, не знающем дна,
Гонит Он трепет Галеры
К берегу мира и сна...
(Г.Т. 50)

В свете пути жизни [:]

Миг и век, струя святая
Длит свой ток живой,
Строясь к солнцу, рея, тая,
Слившись с синевой...
(Г.Т. 51)

Поэт кланяется жизни, как земле, как природе:

Кланяйся, смертный, дневной синеве!
Кланяйся листьям, их вешней молве,
Кланяйся — ниже — осенней траве!
(Г.Т. 87)

В этом преклонении жизни нет слепого экстаза, есть знание, что жизнь и мысль — одно:

Каждая дума — зарница,
Каждая мысль — тишина...
(Г.Т. 106)

Иль это творческие думы и мысли, пересоздающие природу вне лежащей жизни:

Божий мир еще не создан,
Недостроен божий храм, —
(З.С. 85)

Пересоздающие и природу сознания [:]

Дитя судьбы, свой долг исполни,
Приемля боль, как высший дар...
И будет мысль — как пламя молний,
И будет слово — как пожар!
(Г.Т. 135)

Природа жизни земной и природа сознания соединятся в этом акте творческого пересоздания «Я» [.]

И звездным светом-изначально-
Омыв все тленное во мгле,
Раздастся колокол венчальный,
Еще неведомый земле!
(Г.Т. 136)

Это есть Гетевское

Die Sonne tönt nach alter Weise⁸.

Горная тропа сознания и земные ступени — пересекаются в дне жизни поэта как путь этого дня, а не как безуте[ш]ная беспутница, не как «порок [nejskaitomas žodis]».

Путь.

Б. [алтрушайтис] ощущает себя странником: «Странник» — посвят[ительная]⁹ ступень в мистериях: [его] поэзия — путь к первой ступ. [ени] посвящения; и путь взят верно: он ощущает тягости жизни, как котомку; но

В серой котомке —
Правда и сила...
(Г.Т. 23)

В безбрежность дня
Один плыву —
В кольцо огня,
Сквозь синеву!
(Г.Т. 61)

Весь с мигом слит,
Мой легкий челн
Легко скользит
По воле волн...
(Г.Т. 61)

То опьяненный синевой
Плетусь стезею кочевой...
(Г.Т. 149)

Вскрыла в далях бога
И в груди людской
Белая дорога
Белый свой покой...
(Г.Т. 46)

Брожу опять по старым ступеням,
И — только в миг иной —
Щепчу привет и свету и теням,
В далекий день мелькавшим предо мной...
(Г.Т. 53)

Очи дня внешнего к дню внутреннему¹⁰ [.]

Куда же ведет через день этот путь? Он ведет к тихому, себя сознающему центру: к «Я» в «Я»: к семени плода Жизни: к вечеру: этот вечер — свободное, гордое сознательное приятие судьбы.

Но ясен путь, и падают оковы,
Едва душа, без боли о себе,
Тоскующе приемлет долг суровый
Свободного служения судьбе...
(Г.Т. 142)

Дитя судьбы, свой долг исполни,
Приемля боль, как высший дар...
И будет мысль — как пламя молний,
И будет слово — как пожар!
(Г.Т. 135)

Такова поставленная цель поэта: его будущее: его прекрасный и полный сознания вечер, который еще далеко от него; но его он провидит. Какой этот вечер?

Вечер.

И, тень познав, сквозь трепет боли,
Вилась тропа —
Туда, где меркнет стебель в поле
И ждет серпа...
(Г.Т. 14)

В вечере вспоминает он утро:

Помню золото рассвета,
Знаю дым и кровь заката,
Помню пламя, пламя цвета,
Трепетавшее когда-то...
(Г.Т. 27)

Небо проступает явственный в его вечере, в его будущей осени.

Луг желтеет — сад роняет
Вешний цвет, убор листвы...
Только небо не меняет
Первозданной синевы...
(Г.Т. 109)

Синее око самосознания — синева первозданная. Явственный вечером:

К неземному краю...
К вечной тайне звездной
Руки простираю!
(Г.Т. 96)

Кончая день, в вечернем свете
[.....]
Молитву громкую творю....
(З.С. 53)

Кончая день, борьбу живую,
Объятый кроткой тишиной,
Я славлю бога и целую
С земным поклоном прах земной...
(З.С. 54)

В вечерний час, в глухую пору,
Плетусь в неверной тишине
И меря мир, открытыъ взору,
Дивлюсь великому простору,
И чуток трепет дум во мне...
(З.С. 97)

Для него

Час закатный — час прозренья
В тайну божьей глубины...
(З.С. 99)

Сомкнул закат ворота золотые
За шествием ликующего дня,
И тени туч, как витязи святые,
Стоят на страже божьего огня...
(З.С. 155)

Прекрасный вечер после прекрасного дня ожидает его:
он — новая ступень в горной тропе поэта[.] Он ведет в
ночь[.]

Ночь поэта.

И сладко мне, в глухую пору,
С молитвой звездному простору
Припасть тоскующе к земле...
(З.С. 98)

Полночь звездная утрит
Глубь небес и ширь земли,
И рассыплет и раскроет
Месяц золото в пыли...
(З.С. 100)

Много надежд заповедных,
Чаяний света во мгле...
(Г.Т. 25)

Чуткий дух в тоске бессменной
Внемлет ночи у окна...
Велика, неизреченна
Неземная тишина...

Но с годами понемногу
Тают тайные круги,
И к последнему порогу
Приближаются шаги...
(Г.Т. 83)

Мгла ночи, как день строит храм [:]

Храм беззвездный строит мгла,
(Г.Т. 98)

Над бездной ночи властвует зарница,
А сердцем правят сны...
Блажен, блажен, чья полночь осенится
Сверканьем их волны...
(Г.Т. 65)

Кланяйся звездам, что ярко зажглись,
(Г.Т. 87)

Братский поклон отдает он и ночи: в ночи выступает ему
лик внутренний Света: где «Я» и «Свет» — Полночное
Солнце: сознание, бог, снимающий свой покров пред Челове-
ком:

В звездном вихре миров упадет покров
С молчаливого образа Вечности...
(З.С. 55)

Я весь поник пред господом живым,
Пред таинством полуночи бездонной
(З.С. 61)

Ночь — последняя Земная Ступень. переход к Неземному Странствию.

Для нас земля — последняя ступень...
В ночных морях она встает утесом
Где человек, как трепетная тень,
Поник, один, с молитвенным вопросом...
(З.С. 148)

Я видел, господи, все празднества твои,

— т. е. утро, день, вечер —

И смерть, Твой лучший дар, с любовью приемлю —
Теперь и я достоин умереть...
(З.С. 197)

Средь бездны, преданной дремоте,
Расторгла ночь мой смертный плен,
И вот — во мне не стало плоти,
Вокруг меня не стало стен!
(Г.Т. 147)

Еще недолгий взгляд в безмерность бытия,
А там — на дно времен, к пучине первородной,
Ее поверхности случайная струя,
[.....]
Вернусь и я!
(З.С. 160)

Здесь раздается Гимн к ночи подобно Новалисову: далее — кончается Земное Странствие: восхождением Солнца Полночи.

«Die Sonne Schaue»¹¹

Солнце Полночи — бог, глядящий в высшее «Я»: Он — свет ночи и дня: Свет—света и тьмы; и этот «Он» светит в поэзии Б.[алтрушайтиса]. Песни его — молитвы: стих — духовные стихи. Он — религиозный поэт.

Бог у него [:]

В томленьи праздной суеты
Моей души коснулся ты
Живым алканьем красоты...
(З.С. 107)

Божий шум так ласкающе ровен,
Божья ласка так свято нежна!
(З.С. 149)

И потому то бог для него господствует в жизни и в смерти, в мире и в «Я», проявленных природы, в четырех частях суточного круговорота: в утре, в дне, в вечере, в ночи; самое прохождение жизненных дней и ночей — путь — есгь беседа с богом.

Бог в жизни:

Один на свете труд у нас —
Как жить — цвести в полдневный час, —

Как божьим светом, синевою,
Наполнит малый кубок свой!

(З.С. 39)

Но и бог в смерти:

Я видел, господи, все празднества твои,
И смерть, твой лучший дар, с любовью приемлю —
Теперь и я достоин умереть...

(З.С. 197)

In Chr. [isto] morimur¹².

От утра к жизни, к смерти ведет — путь: но и путь в боге:

Мой путь — по божьему указу —
Светло направлен в ширь долин,
(З.С. 35)

День, утро, вечер и ночь суть этапы пути.

Бог в утре: в стих. [отворении] «Слався утро» он говорит:

Ты каждый день, жемчужно-золотое,
Приходишь к нам из божьей глубины —
(З.С. 21)

Бог в «дне»:

День пригожий, праздник божий,
(З.С. 13)

Бог в «вечере» [:]

Сомкнул закат ворота золотые
За шествием ликующего дня,
И тени туч, как витязи святые,
Стоят на страже божьего огня...
(З.С. 155)

Бог в ночи:

Я весь поник пред господом живым,
Пред таинством полуночи бездонной.
(З.С. 61)

Или:

Когда душа, наперстница печали,
Утратит путь с приходом темноты,
Пусть вспыхнут ярче звезд Твоих скрижали,
(З.С. 78)

Мир в «боге» [:]

Передо мной творец струил прилив морей,
Сплетал светил ночные хороводы
(З.С. 160)

Бог в сознании [я] х:

Мы — туманные ступени
К светлым высям божьих гор,
Восходящие из тени
На ликующий простор...
(З.С. 75)

Бог зажег во мне искру: «Я» [:]

Я вижу, любя тревогу, свет и тьму,
Лишь служа судьбе и богу моему...
(Г.Т. 70)

Бог — в мысли:

Он тайною вечной
Мой разум зажег
(Г.Т. 10)

Бог в сердце:

Оттого у него
[...] Сердце людское цветет!
(З.С. 16)

Бог соединяет его сердце и разум:

Мудр, кто в тишь последней грани
Сердце алчное вознес!
(З.С. 76)

Бог в его сердце светящее славословием слово:

Лишь молится сердце живое
Восходу светящихся снов...
(З.С. 131)

Только вспыхнет сладостно
Б пене яркий луч
Да вольется радостно
Чистый божий ключ, —
(З.С. 68)

Песня его — славословие бога[:]

Я славлю бога [...]
(З.С. 54)

Она — молитва:

Мир — тихое пенье в редющей тьме,
Я — пламя молитвы в псалме...
(З.С. 16)
Молись, душа, молись!
(З.С. 18)

Оттого у него так светла утешительна песня — молитва[:]

Только она нас упорно ведет
Каменистой тропой бесконечности, —
Тихо, как мать над малюткой, поет
О ликующих празднествах вечности...
(З.С. 84)

Но поэт не наивен: он знает минуты усталости. Эта усталость звучит в великольном *Taedium Vitae* (З.С. 73), в «Элегии», в стих. [отворении] «На отмели» и др. Иногда он достигает в сомнении силы и размаха Баратынского[.]

Нам божий мир — как чуждая обитель,
Угрюмый храм из древних мшистых плит,
Где человек, как некий праздный зритель,
На ток вещей тоскующе глядит...
(З.С. 144)

И вместе с Тютчевым погружается в хаос мира он[:]

Для нас земля — последняя ступень...
В ночных морях она встает утесом,
Где человек, как трепетная тень,
Поник, один, с молитвенным вопросом...
(З.С. 148)

Но все побеждает молитвенный гимн его сердечной мысли: у него вера соединена со знанием[м] в верное значение: и это верное знание о Духе — наука души[.] Per Sp.[iritum] S.[anctum] reviv[ere]¹³. Оттого то мудра его истина:

Лишь предав свой дух терпению,
Им оправдан и спасен,
Будешь малою ступенью
В темной лестнице времен...
(З.С. 86)

Дитя судьбы, свой долг исполни,
Приемля боль, как высший дар...
И будет мысль — как пламя молний,
И будет слово — как пожар!
(Г.Т. 135)

Оттого, то и смерть средь зыби бытия для него не мрак, а струя, взрытая к солнцу:

Как средь зыби бытия,
К солнцу взрытая струя,
Распадется жизнь моя!
(Г.Т. 56)

Таково светлая, мудрая и все-таки сердечная песня = жизнь = подвиг поэзии Балтрушайтиса.

Я — есмь истина, путь и жизнь¹⁴

Ум, воля, сердце образуют в ней сознательно сложенный треугольник: посредине — Синее око Высшего «Я» — глаз в треугольнике[.]

Таковой видится мне обложка к собранию стихотворений поэта:

И много в недрах бездн ночных
Зариц, мгновений огневых,
Но их сверканье — для живых...
(З.С. 31)

Балтр.[ушайтис] — живой поэт[.] Не все прекрасные поэты живые поэты: есть мертвые (Брюсов)[.] Не все прекрас-

ные поэты — хорошие поэты: есть дурные, злые поэты (Сологуб: поэзия Сологуба зла).

Балтрушайтис самосознающий поэт [.] Он — живой человек (жизнь) [.] Оттого он — хороший человек (путь) [.] Он — истинно-прекрасный поэт (истина) [.]

Истина	{	Сложили II Δ ; посередине вспыхнуло «око»: высшее Я ¹⁵ [.]
Путь		
Жизнь		

Я — истина, путь и жизнь.

Оттого он Хороший Поэт [.]

¹ Iš dievo gimstame (lot.). Žodžiai iš Naujojo Testamento.

² Фаворский свет — Taboro kalno šviesa. Biblinis įvaizdis, sutinkamas ne kartą Belo raštuose. «Гетев свет» (фаворский или «звездный»). — А. Белый Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности, р. 130. Panašus išsireiškimas yra ir V. Briusovo eilėraštyje, dedikuotame A. Belui. «Ты был безумием и верой/На высь Фавора возведен». — В. Брюсов. Стихотворения и поэмы. Ленинград, 1961, р. 323.

³ Jei akis nebūtų saulėta,

Niekados negalėtų pamatyti saulės;

Jei mumyse neslypėtų paties dievo galia,

Kaip galėtų patraukti mus dieviškumas?

(Pažodinis vertimas)

J. V. Getės ketureilis. Jį nuolat cituodavo R. Štaineris savo raštuose ir paskaitose, kurių klausėsi Belas. Šiam ketureiliui artimas V. Mykolaičio-Putino eilėraštis „Dvi saulės“ (žr. V. Mykolaitis-Putinas. Raštai, X. V., 1969, р. 93).

⁴ Vėlesniu laiku autoriaus padarytas priedas.

⁵ Cituojama pagal V. Briusovo eilėraščių rinkinį „Urbi et orbi“. M., 1904, р. 94. Pirmoji eilutė šioje knygoje, taip pat vėlesniuose leidiniuose yra šiek tiek kitokia:

И путник по середине луга

⁶ Šioje vietoje nepilnai išbraukti žodžiai: Экон. мар[к]сизма.

⁷ Cituojama pagal V. Briusovo „Urbi et orbi“, р. 44, bet netiksliai. Cituojama strofa knygoje atrodo šitaip:

И сквозь пальцы мудрость мира

Протекает, как вода,

И восторг блестящий пира

Исчезает навсегда.

⁸ Saulė skamba sena melodija (pažodinis vertimas). Eilutė iš J. V. Gėtės „Fausto“.

⁹ Neužbaigtas žodis.

¹⁰ Vėlesniu laiku padarytas priedas.

¹¹ R. Stainerio eilėraštis.

¹² Su Kristumi mirštame (lot.). Žodžiai iš Naujojo Testamento. Priedas padarytas vėlesniu laiku.

¹³ Per šventą dvasią atgimti (lot.). Vėlesniu laiku padarytas priedas.

¹⁴ Citata iš Naujojo Testamento.

¹⁵ Panašių schemų yra ir kituose Belo raštuose: Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности, p. 184—186, 191; На перевале. III. Кризис культуры. Петербург, 1920, p. 78.

A. BELO SUDARYTOS J. BALTRUSAIČIO EILERAŠČIŲ STRUKTŪRINĖS SCHEMOS

Andrejus Belas beveik visą gyvenimą intensyviai tyrinėjo poetikos problemas. Jau 1910 m. jis išspausdino knygą «Символизм», kurioje bandė filosofiškai pagrįsti savo paties ir bendražygių literatūrinę praktiką; maždaug pusė šio veikalo skirta eilėdaros studijoms. 1929 m., kai rusų eilėdaros tyrimus plėtojo daugelis mokslininkų, pasirodė poleminė Belo apybraiža «Ритм как диалектика» и «Медный всадник», kurioje mėginama išryškinti dinamiškas ritmines kreives ir susieti jas su kūrinio semantika. Knygoje «Поэзия слова» (1922) ir studijoje «Мастерство Гоголя» (1934) Belas daug dėmesio skyrė ne tik išraiškos, bet ir turinio organizacijai literatūroje. Įdomu pastebėti, kad šias savo idėjas poetas populiarino ir Kaune, kuriame lankėsi 1921 m. rudenį¹.

Belas buvo avangardistas ne tik kaip poetas bei romanistas, bet ir kaip literatūros mokslininkas. Jo studijos anaipsole nėra moksliškai objektyvios ir beasmenės: tai savotiški literatūriniai kūriniai, parašyti nepakartojama Belo prozos kalba. Atidus specialistas ras juose metodologinių netikslumų, abejo-

¹ Zr. T. Venclovos straipsnius: Andrejus Belas Kaune.—„Nemunas“, 1971, Nr. 12; Dar kartą apie A. Belą Lietuvoje.—„Literatūra ir menas“, 1972, gegužės 13.

tinų idėjų, bet drauge ir numatymų, žymiai pralenkiančių savo epochą. Belas vienas pirmųjų reikalavo įvesti į literatūros mokslą tikslūs metodus, suartinti jį su matematika. Nagrinėdamas poetinį kūrinį, jis stengėsi įžiūrėti jo funkcionalų balansą, visų lygmenų vieningo meninio efekto organizavimą. Trečiajame XX a. dešimtmetyje Belas su V. Briusovu darė poveikio rusų formalinei mokyklai (B. Tomaševskiui, V. Žirmunskiui, J. Tinianovui ir kt.); tiesa, formalistai patikslino jo teiginius, kai kuriuos jų ir atmetė, tačiau Belas didele dalimi apibrėžė formalistų interesų sferą. Šiandien perspektyvių minčių ir metodų Belo palikime randa struktūrinės mokyklos atstovai.

Belas prie savo rankraščio apie Jurgio Baltrušaičio lyriką pridėjo keturis puslapius pagalbinių schemų*. Kaip iš jų matyti, autorius norėjo panagrinėti tiek Baltrušaičio eilėraščių fonetinę struktūrą, tiek jų prasminę organizaciją (ritmo tyrimai šiuo atveju palikti nuošalyje). Galima spėti, kad būsimas straipsnis turėjo būti daugmaž analogiškas studijai apie Viač. Ivanovą, išspausdintai Belo knygoje «Поэзия слова». Belas eina beveik tuo pačiu keliu, kuriuo eitų ir mūsų dienų struktūralistas, norėdamas detaliai aprašyti Baltrušaičio poetinę sistemą.

Medžiaga schemoms rinkta iš pirmųjų devynių rinkinio «Земные ступени» eilėraščių. Pradžioje Belas sužymi ryškesnes Baltrušaičio aliteracijas, nurodydamas pasikartojančius garsų kompleksus ir jų ryšius. Jis apytikriai randa tai, ką šiuolaikine kalba galėtume vadinti atskirų eilučių ir strofų vokalinėmis-konsonantinėmis temomis. Ypatingą dėmesį tyrinėtojas kreipia į garsines inversijas ir palindromus, kurie pastaruoju metu domina filologijos mokslą (plg. J. Lotmano, A. J. Greimo darbus), taip pat į kitas garsines transformacijas (по-пу-пы ir t. t.). Sujungdamas fonetiškai artimus kompleksus lygybės ženklų, Belas, matyt, pabrėžia čia atsirandančius okazionalinius prasminius tapatumus.

Šalia aliteracijų išrašyti tikslūs ar apytikriai vidiniai rimai, taip pat kruopščiai tiriamas eilėraščių vokalinis kontūras. Išti-

* Apie šio rankraščio ir schemų suradimą bei kitus su tuo susijusius dalykus žr. V. Kubiliaus ir D. Straukaitės pastabose prie šiame leidinyje spausdinamo Belo rankraščio, p. 424. *Red.*

sine eŖe surašyti Baltrušaičio eilėraščių «Посвящение» («Вся мысль моя — тоска по тайне звездной»), «Запылала заря перед шествием дня», «Чу! Светает! Сумрак тает» kirčiuoti balsiai. Nurodomi kai kurie ryškūs panašiose pozicijose atsiduriančių tų balsių sąskambiai (fonetiniai paralelizmai, kuriuos galima laikyti savotiškais pantorimais), taip pat atvejai, kai eilutėje tėra vienos rūšies kirčiuoti balsiai. Specifišku ir gana moderniu metodu išryškinama dviejų Baltrušaičio fragmentų vokalinė dinamika: sudaromos lentelės, turinčios penkias horizontalias eilutes pagal balsių skaičių (nuo „labiausiai priešakinio“ *i* ligi „labiausiai užpakalinio“ *u*), ir jų vertikaliuose stulpeliuose išdėstomi žodžiai pagal kirčiuotą balsį. Gautuosius grafikus (kreives) Belas greičiausiai rengėsi interpretuoti semantiškai (plg. ritminių kreivių interpretaciją jo knygoje «Ритм как диалектика»). Pastebėtina, jog antrojoje lentelėje praleistas žodis «тишина» (kreivės formai tai beveik neatsiliepia).

Paskutinė schemų dalis — svarbesnieji žodžiai ir žodžių junginiai, surašyti stulpeliais, apibūdinantys esminius Baltrušaičio mitinio pasaulio elementus — vandenį, žemę, debesis, saulę, saulės spindulius, žvaigždes, dangų, ugnį ir kt. Ieškota oro ir mėnulio charakteristikų, bet jų nedideliame pasirinktame nagrinėjimo objekte nerasta. Atskirai sužymėti „individualūs žodžiai“ ir frazeologizmai: «жемчужный», «заповедный», «стоцветный веер зари». Visa tai — parengiamoji medžiaga Baltrušaičio poetinės semantikos tyrimams.

Belas, be abejo, rengėsi atlikti su Baltrušaičio tekstais tokį pat darbą, kokį jis knygoje «Поэзия слова» atliko su Puškino, Baratinskio ir Tiutčevo tekstais. „Koks Puškino požiūris į vandenį, orą, saulę, dangų ir kitas gamtos stichijas? Jis — visų žodžių apie saulę suma, o ne citata, ne jų ribota serija. Kuo skiriasi Puškino saulė nuo Tiutčevo saulės? Tik citatų sumos leis mums išspręsti šį klausimą“². Skirtingi poetai skirtingai klasiifikuoja pasaulį: iš „citatų sumos“ Belas išveda tam tikrus invariantus, sintetines frazes, aiškiausiai išreiškiančias meninin-

² А. Б е л ы й. Поэзия слова. Пб., 1922, р. 9.

ko individualybę. Baltrušaičiui skirtas tyrimas, deja, liko nebaigtas: pateikiamos tik „citatų sumos“. Invariantinių frazių, kuriomis galėtų būti realizuotos individualios Baltrušaičio mitologemos, Belas nenurodė, bet jo iškeltoji problema ir šiandien tebėra įdomi.

T. Venclova

TOMAS VENCLOVA

EILĖRAŠČIO PUSIAUSVYRA

Sis straipsnis — bandymas struktūriškai (semiotiškai) paanalizuoti du Jurgio Baltrušaičio eilėraščius. Pastaruoju metu šio pobūdžio analizės — šalia tradicinių — publikuojamos tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje. Autorius daugiausia rėmėsi plačiai žinomomis J. Lotmano knygomis¹, taip pat V. Toporovo ir V. Ivanovo studijomis, kuriose plėtojama F. de Sosiūro „poetinių anagramų“ teorija².

Būdingas, itin išbaigtas eilėraščio struktūrinio aprašymo pavyzdys yra R. Jakobsono ir K. Levi-Stroso studija („L'Homme“, 1962) apie Š. Bodlero sonetą „Les Chats“, prie kurios prisišlieja gausingi vėlesni R. Jakobsono darbai. Jų metodus šiame straipsnyje taip pat bandyta taikyti. Minėtina A. J. Greimo ir jo grupės parengta knyga „Essais de sémiotique poétique“ (Paris, 1972). Lietuvoje šios orientacijos darbų irgi jau yra paskelbta (K. Nastopka ir kt.).

Straipsnis nepretenduoja į neklystamą ir išsamią analizę (beje, tokia analizė turėtų užimti ne vieną dešimtį puslapių). Jame sąmoningai vengta lingvistinio (pvz., fonologinio) detalizavimo, dėl to vietomis galėjo atsirasti ir netikslumų.

¹ Ю. М. Лотман. Структура художественного текста. М., 1970; Анализ поэтического текста. Л., 1972.

² В. Н. Топоров. К анализу нескольких поэтических текстов. — Поэтика. Warszawa, 1966; Вяч. Вс. Иванов. Структура стихотворения Хлебникова «Меня проносят на слоновых...» — Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по знаковым системам, III. 1967.

„Topas“ (E. R. Kurcijaus terminas) reiškia atsikartojantį tam tikrame kultūriniame rate mitinį-poetinį motyvą ar „bendrąją vietą“.

I

АМИНЬ

Опять, венчая круг суровый,
Зажглась вечерняя заря,
И — верный жрец — до жертвы новой
Я отхожу от алтаря.

Хвала и мир свершенной грани!
Хвала и мир пустым садам!
Живой тоске каких алканий
Мой вещий дух я вновь предам?

Повторна ночь, и свет повторен
Неисчерпаем трепет лет...
И вся безмерность тайных зерен
Еще раскроется, как цвет...

Еще в великом зное бога
Не все пылание зажглось,
И в даях праха много, много
Никем не вспаханных полос...

И солнце пламенным восходом
Сверкнет над новью снов и мест...
Лети, пчела, за новым медом!
Прими, невольник, новый крест!

Tai paskutinis rinkinio «Горная Тропа» eilėraštis. Užbaigdamas juo rinkinį, poetas jį ypatingai eksponuoja (dera prisiminti, kokia preciziška ir darni yra jo knygų kompozicija). Šis kūrinys drauge užbaigia ir ankstyvąjį Baltrušaičio rusiškosios lyrikos periodą: tai pabrėžia pats jo pavadinimas. Kritika yra jį priskyrusi prie geriausiųjų poeto eilėraščių. Detalesnė analizė turėtų atskleisti jo struktūros tobulumą.

Eilėraščiui nestinga simbolistinio alegorizmo ir retorikos. Jo metaforos negausios ir pakankamai įprastos (vyrauja vei-

kiau metonimijos principas). Poetinė vertė slypi dialektiniame simetrijos ir asimetrijos žaisme, kuris pastebimas visuose kūrinio lygmenyse.

Pirmoji strofa įvairiais atžvilgiais siejasi su paskutiniąja (jos priešpastatytos trims vidurinėms). Kita vertus, išsiskiria centrinė, trečioji strofa: eilėraštis skyla per vidurį, tarp 10-tos ir 11-tos eilutės.

Eilėraštis itin organizuotas garsiniu aspektu. Pirmosios strofos konsonantinę temą apibrėžia du kompleksai: *внч... р, вчрн, врн* (1, 2, 3 eil.) ir *ж...р, жр...жр, ж...р* (2, 3, 4 eil.). Fonetiškai išryškinami mitiniai „vakaro“ ir „aukos“ motyvai (paskutinįjį akcentuoja ir etimologinis ryšys), kurie priklauso prie topų, integruojančių visą Baltrušaičio poeziją. Garsinę specifiką kiekvienai eilutei suteikia sąskambiai: *пу...уп* (1 eil.), *за...за* (2 eil.), *ер...ре...ер* (3 eil.), *т...т...т* (4 eil.).

Jei pirmojoje strofoje kiekybiniu požiūriu dominuoja *р* ir *в*, tai penktojoje — *н* ir *м*; visi šie priebalsiai skardūs, bet *р, в* nenosiniai, o *н, м* nosiniai. Konsonantinę penktosios strofos temą apibrėžia pirmiausia kompleksas *сн...л...н...с* (1 eil.), *с...н...н...н...сн...с* (2 eil.), *л...л...н* (3 eil.), *н...лн...н...с* (4 eil.), ryškinąs mitinį „saulės“ motyvą. Žodis «пламенным» fonetiškai siejasi su «пчела» ir «медом»; tuo būdu poetas semantiškai susieja šias sąvokas (plg. taip pat 1—3 eil. rimus). Paskutiniąsias tris eilutes jungia pasikartojimai: *нов...нов, нов, нево...нов*. Jie turi sąryšio tiek su „atsinaujinimo“, tiek su „sapno“ („nelaisvės“) topais. Pastebėtina, jog «новый» yra dažniausias reikšmingas žodis visame eilėraštyje, tarsi jo raktas. Rinkinyje jis sutinkamas 5 kartus, iš jų šiame eilėraštyje — 3 (pirmojoje ir penktojoje strofoje; paskutinėje dar prisideda tos pat šaknies žodis «новью»).

Viena kitai atliepia pradinė ir baigiamoji (1 ir 20) eilėraščio eilutės. Pirmieji jo priebalsiai — *п* ir *т*; paskutiniąją eilutę tie patys priebalsiai įrėmina (*прими ... крест*). Tiek fonetiškai, tiek semantiškai atvirkštiniai vienas kitam yra žodžiai «венчая» ir «невольник». Tą patį galima pasakyti apie «круг суровый» ir «новый крест»; semantiniu požiūriu „ratas“ ir „kryžius“ mitiniame Baltrušaičio pasaulyje priešpastatyti (su pirmuoju pa-

prastai siejamas mechaniškas atsikartojimas, su antruoju — atgimimas).

Antrojoje strofoje kiekibiškai dominuoja priebalsis *в* (užimąs antrą vietą pirmojoje); ketvirtojoje, kaip ir penktojoje — *н*. Čia garsinė struktūra ne tokia išraiškinga, nors ir ją galima būtų atskirai analizuoti. Pastebėtini fonetiniai ryšiai tarp strofų: *алтаря-границ-алканый* (1, 2), *вновь предам-повторна* (2, 3), *безмерность-зерен-зное* (3, 4), *вспаханных полос-солнце пламенным восходом* (4, 5). Trijose vidurinėse strofose — ir tik jose — randame po vieną ш.

Garsiniame lygmenyje išsiskiria centrinė (trečioji) strofa: joje kiekibiškai vyrauja priebalsis *т*, kai kitose strofose jis retai pasitaiko. Konsonantinę temą apibrėžia kompleksai: *п...тр...тп...тр* (1 eil.), *пп...трпт...т* (2 eil.), *п...т...п* (3 eil.), *п...п...т* (4 eil.) ir *з...рн...зрн* (3 eil.). Jie akcentuoja būdingus Baltrušaičiui ir jo epochai (plg. V. Chodasevičių) „virpesio“ ir „grūdo“ motyvus. Strofą verte perveria semantiškai svarūs rimai: *свет-лет-цвет*.

Nuo pirmosios iki paskutiniosios strofos gausėja kirčiuotų *о* (2, 3, 6, 8, 9) ir mažėja kirčiuotų *у* (2, 1, 0, 0, 0): tatau leistina interpretuoti ir prasmės lygmeniu (šiuo konkrečiu atveju — kaip perėjimą iš tamsos į šviesą). Trečioji strofa vėl išsiskiria: joje tėra trijų rūšių kirčiuotų balsių (*а, е, о*), kitur jų įvairovė didesnė.

Aukštesniuose lygmenyse susiduriame su analogiškais simetrijos ir asimetrijos atvejais. Pirmojoje ir paskutiniojoje strofoje yra po ketetą veiksmažodžių (eigos ir įvykio veikslų); vidurinėse — tik po vieną (įvykio veikslų). Pirmosios strofos žodžiui «зажглась» penktojoje, lygiai tokioje pat pozicijoje, atliepia žodis «сверкнет» (būtasias laikas priešpastatytas būsimajam). Šią opoziciją it veidrodyje atspindi antroji ir ketvirtoji strofos: čia rimo pozicijoje atsiduria būsimąjo laiko (предам) ir būtojo laiko (зажглось) veiksmažodžiai.

1-oje ir 20-oje eilutėje — ir tik jose — rimuojamas galininkas, sutampąs su vardininku; tai dar sykį pabrėžia eilėraščio „uždarumą“. Abu šie galininkai — «сыровый» ir «крест» — yra labai reikšmingi Baltrušaičio poetinės sistemos žodžiai.

Centrinę strofą gramatiškai pirmiausia charakterizuoja trumposios formos «повторна», «повторен», «неисчерпаем», kurių kitur eilėraštyje nėra. Drauge tai suteikia jai ir sintaksinio lygmens individualumą. Iš daugelio eilėraščio simetrijų ir asimetrijų, būdingų šiam lygmeniui, suminėsime tik keletą. Pirmąją ir ketvirtąją strofas sudaro analogiškai sujungiamieji sakiniai (beje, pabrėžtinas priešpastatymas «опять... зажглась — еще... не... зажглось»). Antroji ir penktoji strofos atvirkščios viena kitai: jose yra po du šaukiamuosius sakinius, bet skirtingo tipo ir priešingose pozicijose. Pirmojoje ir penktojoje strofoje — ir tik jose — yra po du sintaksinius intarpus (tiesa, nevienodos prigimties).

Eilėraštis parašytas keturpėdžiu jambu. Tai bene dažniausias XIX, iš dalies ir XX a. rusų poezijos metras, skaitytojo sąmonėje susijęs pirmiausia su Puškino poemomis ir eiliuotu romanu. Rinkinyje «Горная Тропа» šis metras ištisai pavartotas dvylikoje eilėraščių (iš 75). Vėliau («Лилия и Серп») jis sutinkamas nepalyginti dažniau; taigi čia analizuojamas eilėraštis «Аминь» tarsi pranašauja tolesnę Baltrušaičio metrikos evoliuciją. Ritmiškai išsiskiria 10 eilutė, kurioje yra ilgiausias viso teksto žodis. Tuo būdu pabrėžiamas eilėraščio „skilimas per vidurį“.

Visas šis analogijų ir opozicijų žaismas turi aiškų — iš dalies mūsų jau aptartą — semantinį krūvį. Eilėraštis skyla į tris dalis: pirmoji (ir ją papildanti antroji) strofa kalba apie vakarą (mirtį), penktoji (ir ją parengianti ketvirtoji) — apie rytą (prisikėlimą). Trečioji strofa teigia būties cikliškumą, gyvybės — mirties sutapimą, pašalina jų opoziciją (identifikuojama naktis ir šviesa)³. Pirmosios dvi strofos akcentuoja įvykusį užsisklendimą (круг, свершенная грань), paskutiniosios dvi — pageidaujamą ir būsimą atvirumą (даль, полосы, лети); centre įvyksta lūžis (безмерность... еще раскроется). Reikšmingas yra uždaro ir tuščio *sodo* (2 str.) priešpastatymas atviram, nesuartam *laukui* (4 str.), atitinkąs „ištrėmimo iš rojaus“ topą. „Sodo“ ir „lauko“ mediatorius yra *bitė* — mitologinis veikėjas,

³ Eilėraščio gale taip pat regime tam tikrą *coincidentia oppositorum*.

sutapatinąs lauką su sodu, gamtą su kultūra, nebūtį su būtimi (ne vien Baltrušaičio, bet ir, pvz., O. Mandelštamo kūryboje).

II

LUŠNOS DAINA

Žinau, pažįstu seną lūšnelę...
Prie pat jos slenkščio piktžolės želia...
Siauri langeliai, lyg užsimerkę,
Tarsi ji liūdi ir tyliai verkia,
Tarsi stebėti, ką žemė rodo,
Našlaitei vargšei jau nusibodo...
Darže palinko kryžius ir svirtis...
Dar tebekyšo tvoros ketvirtis...
Kreivai įlinkęs, apdaras blogas,
Dar teberiogso lopytas stogas,
Kur smilgų kuodas dar skurdžiai šiaušias,
Nes daug jį vėlė viesulo riaušės...
Kur buvo trankios vaišės ir puotos,
Vien nykiai girgžda grindys nešluotos...
Kur jaunas džiaugsmas pro daržą žengė,
Vien skurdūs gluosniai takelį dengia...
Apleistą kiemą šiukšlės užklojo —
Seniai prie vartų šunes neloja...
Kurčia motutė jau nebegirdi,
Kas glostė, būrė jaunystės širdį...
Tik šniokščia sodo lapai atsargūs,
Kad nepabustų senė nuvargus,
Kad nepažeistų jos viso turto —
Nenubaidytų sapno užburto...

Tai pirmasis „Ašarų vainiko“ (I d.) eilėraštis. Jis yra tarsi lietuviškosios Baltrušaičio lyrikos įžanga. Tiesa, tai anaip tol ne ankstyviausias eilėraštis iš mums žinomų lietuviškų poeto kūrinijų; tačiau Baltrušaitis sąmoningai ar nesąmoningai pasirinko jį kaip „užsklandą“, tiek semantiškai, tiek kitais požiūriais duodančią rinkinio (ir vėlesnių rinkinių) toną.

Lietuviškajam Baltrušaičiui „Lūšnos daina“ charakteringa įvairiais aspektais. Palyginus su rusiškąja poeto kūryba, čia ryškus esminis lūžis leksikos srityje: abstrakčius poetizmus pakeičia žodžiai, susiję su valstiečio buitimi. Visame rinkinyje

yra 69 šio semantinio lauko daiktavardžiai, kurių atitikmenų rusiškuose rinkiniuose dažniausiai net neįmanoma įsivaizduoti. „Lūšnos dainoje“ jų irgi gana daug. Eilėraščio erdvę, topologiją apibrėžia *grindys nešluotos, siauri langeliai, lopytas stogas, apleistas kiemas, šiukšlės, svirtis, tvoros ketvirtis, vartai, piktžolės, skurdūs gluosniai, smilgų kuodas* ir pan.; tai grynai žemiška, „artimoji“ erdvė, priešpastatyta ką tik analizuoto rusiško eilėraščio kosminei erdvei. Beje, pirmojoje strofoje randame ir žodį „žemė“, kuris yra viso rinkinio raktas — dažniausias jo daiktavardis. Vėlyvajam (lietuviškajam) Baltrušaičiui būdinga „pirkios mitologija“ — neabejotinai postsymbolistinis reiškiny. Rusų poezijoje gana panašiu keliu ėjo N. Kliujevas, taip pat ir O. Mandelštamas, kurio eilėraščiuose bei straipsniuose ilgainiui didžiulę semantinę vertę įgyja „padargai“, „apyvoka“. Symbolistų tarpe panašių tendencijų vietomis galima pastebėti Viač. Ivanovo kūryboje.

Įdomu, kad ir sodo topas „Lūšnos dainoje“ charakteringai transformuotas: kalbama ne tik apie „sodą“, bet pirmiausia apie „daržą“ (vienintelis pasikartojęs eilėraščio daiktavardis). Visame rinkinyje žodis „daržas“ pasitaiko 6 kartus („sodas“ — 5); atitinkami «Горная Тропа» skaičiai — 0; 4.

Ritminiu požiūriu „Lūšnos daina“ siejasi su lietuvių liaudies baladėmis. Jų dažniausias metras (išanalizuotas V. Toporovo) — dešimtskiemenis su cezūra po penktojo skiemens, gana laisvai išsidėsčiusiais kirčiais. Šio tipo metrą lietuviškojoje savo lyrikoje — šalia chorėjo — itin mėgsta ir Baltrušaitis („Ašarų vainiko“ I dalyje — 7 atvejai iš 42). Tiesa, palyginus su liaudies balade, metras žymiai griežtesnis.

Nesunku pastebėti ritminius keturių eilėraščio strofų simetrisumus ir asimetriškumus. Iš viso „Lūšnos dainoje“ galima išskirti šešias ritmines formas:

- | | | | |
|----|--------------|------------|----------|
| 1) | kirčiuojamas | 1, 4, 7, 9 | skiemuo; |
| 2) | „ | 2, 4, 6, 9 | „ |
| 3) | „ | 2, 4, 7, 9 | „ |
| 4) | „ | 2, 4, 9 | „ |
| 5) | „ | 4, 6, 9 | „ |
| 6) | „ | 4, 7, 9 | „ |

Pirmoji forma sutinkama tik pirmojoje strofoje; trečioji — visur, išskyrus pirmąją strofą. Antroji forma aiškiai vyrauja vidinėse strofose, ketvirtoji yra tikrai kraštinėse. Penktoji ir šeštoji formos pasitaiko tik lyginėse strofose — tuo būdu jos atskiriamos nuo nelyginių.

Pasak R. Jakobsono, deramai sukonstruotuose keturių strofų eilėraščiuose regime trejopą struktūrą: vidinės strofos pagal kai kuriuos požymius priešpastatytos kraštinėms, lyginės — nelyginėms, dvi pirmosios — dviem paskutinėms. „Lūšnos dainoje“ šį trilypumą irgi nesunku įžiūrėti.

Iš priebalsių visose strofose kiekybiškai dominuoja s (tai, manytina, aplamai būdinga lietuviškiems tekstams): jis sudaro neutralų foną, kuriame ryškėja tikroji kiekybinė dominantė — antras pagal dažnumą priebalsis. Pirmojoje strofoje tai l, antrojoje — r (kartu paėmus abi strofas — r); trečiojoje ir ketvirtojoje strofose (kartu paimtose) — n. Nenosiniai sonantai priešpastatyti nosiniams.

Pirmojoje strofoje ryški konsonantinė tema ž...ž...l...l (1 eil.), žl...žl (2 eil.), l...l...l... (3 eil.), l...l (4 eil.), ž (5 eil.), kurią suvirtina ir etimologinės figūros. Semantiškai čia suvienijami „pažinimo“ ir „augimo“ motyvai (pažinimas teigiamas pirmojoje eilutėje ir neigiamas vėlesnėse; augimas, šiaipjau Baltrušaičio sistemoje teigiamo pobūdžio, šiuo atveju charakterizuojamas neigiamai — *piktžolės želia*). Antrosios strofos konsonantinė tema — drž...rž...r...r (1 eil.), dr...r...r (2 eil.), r...dr (3 eil.), dr...r (4 eil.), r...dr...rdž (5 eil.), d...r (6 eil.), taip pat susipinanti su pirmąja tema kr...r...vr (1 eil.), r... k...vr...k...vr (2 eil.), krv...k...r (3 eil.), kr...k...r...kr (5 eil.), v...v...r (6 eil.). Išryškiniami mitiniai „daržo“ ir „kryžiaus“ motyvai, taip pat nepilnumo, pavojaus semantika. Būdinga fonetinė (ir semantinė) atvirkštinė transformacija „*kryžius — svirtis*“ (tačiau šiedu simboliai sutapatinami). Vidurinės eilėraščio eilutės (12 ir 13) jungia sąskambis: viesulo riaušės — vaisės, susijęs su semantiniu kontrastu. Tokį pat semantinį kontrastą randame trečiojoje strofoje; jį irgi pabrėžia fonetinis panašumas — n...grgždgrnd...n (2 eil.), n...džg...rdržžng (3 eil.). Ketvirtojoje strofoje įvairiai santykiauja kompleksai, sudaryti iš garsų j, n,

s („senatvės“ ir „jaunystės“ priešpastatymas, akivaizdus ir vi-
same eilėraštyje).

Vienas gražiausių eilėraščio fonetinės organizacijos momen-
tų pastebimas jo rimų struktūroje. Pirmojoje strofoje rimuoja-
mas mišrus dvigarsis (er); antrojoje — mišrus dvigarsis (ir)
ir dvibalsis (au); trečiojoje — dvibalsis (uo) ir mišrus dvigar-
sis (en); ketvirtojoje — tik mišrus dvigarsiai su r (ir, ar, ur),
kurių pirmasis komponentas laipsniškai pereina iš priešakinės
eilės į užpakalinę (šiuo konkrečiu atveju tai leistina susieti su
gyvybės — mirties semantika).

Abi vidinės strofos pasižymi dideliu kirčiuotų dvigarsių ly-
ginamuoju svoriu.

Gramatiniame lygmenyje pastebėtina atskirų strofų specifi-
ka: tik pirmojoje strofoje yra veiksmažodžio I asmuo (pradedas
visą eilėrašį), tik ketvirtojoje — tariamoji nuosaka (užbaigianti
eilėrašį). Pirmojoje ir antrojoje strofose randame po vieną
veikiamąjį dalyvį; trečiojoje — neveikiamąjį; ketvirtojoje, sin-
tetizuojančioje, yra abiejų rūšių dalyvių.

Sintaksės lygmenyje dvi pirmosios strofos yra analogiškos
ir priešpastatytos dviem paskutinėms. Ir vieną, ir kitą sudaro
du vientisiniai sakiniai (po eilutę) ir dvilaisnis sudėtinis sa-
kinys (keturios eilutės). Analogiškose pozicijose yra sintaksi-
niai intarpai (susiję su inversijomis).

Eilėraščių perveria sudėtinga, tolydžio transformuojama ana-
forų grandinė: *tarsi — tarsi* (1 str.), *darže — dar tebekyšo —*
kreivai — dar teberiogso — kur (2 str.), *kur — vien — kur —*
vien (3 str.), *kurčia — kas — kad nepabustų — kad nepažeistų*
(4 str.). Nesunku pastebėti anaforų simetriją lyginėse strofose,
taip pat kraštinėse strofose.

Palyginus su rusiškais eilėraščiais, „Lūšnos dainoje“ (ir iš
viso lietuviškojoje Baltrušaičio kūryboje) žymiai labiau krinta į
akis paralelizmai. Kiek sustiprėja ir metaforiškumas.

Simetrijos — asimetrijos įtampa atsikartoja semantiniame
lygmenyje. Eilėraščio temą galėtume pavadinti „irimas“, „entro-
pija“⁴. Pirmojoje strofoje paneigiamas *regėjimas*, paskutiniojo-

⁴ Turinio plane eilėraštis atvirkščias „Kondiljako statulos“ mitui.

je — *klausa* (tarsi keleriais metais ankstesniame O. Mandelštamo „Lamarke“). „Našlajtei vargšei“ atliepia „kurčia motutė“: poetas čia nevengia dviprasmybės — ne visai aišku, ar metaforiškai šnekama apie tą pačią lūšnelę, ar — „realistiškai“ — apie jos gyventoją. Šiaip ar taip, eilėraščio pradžioje lūšnelė sužmoginama, o gale įvyksta atvirkščias procesas — žmogus sudaiktinamas, išjungiamas iš žmogiškosios būties. Realų uždarumą (užžėlęs slenkstis, siauri langeliai...) pirmojoje strofoje pavaduoja nerealus išsilaisvinimas (sapnas užburtas) ketvirtojoje; neigimai, tokie gausūs antroje eilėraščio pusėje (pirmoje jiems atliepia konstrukcijos su „dar“), pabrėžia tą nerealybę. Pasaulis iškrypęs, išlinkęs, neapsaugotas nuo destruktivių jėgų, nepilnas (antroji strofa) ir drauge sklidas chaotiško entropinio „šlako“ (trečioji strofa). Mitiniai mediatoriai (kryžius, sodas) neatlieka savo vaidmens — atgimimas neįmanomas. Šis, gal būt, tragiškiausias Baltrušaičio eilėraštis parašytas antrojo pasaulinio karo pradžioje, kai tradicinės Vakarų visuomeninės struktūros ir vertybės byrėjo į dulkes.

ЮРГИС БАЛТРУШАЙТИС 1873—1944—1973

Резюме

В настоящем очередном томе издания «Литература и язык» публикуется ряд архивных и мемуарных материалов, посвященных столетию со дня рождения Ю. Балтрушайтиса. Это, в первую очередь, 22 стихотворения поэта на русском языке, ранее нигде не публиковавшиеся или же не вошедшие в сборники его стихов, а также несколько его писем. Значительное место в томе отводится воспоминаниям о Ю. Балтрушайтисе его друзей и знакомых. Эти воспоминания позволяют полнее и глубже представить личность поэта. Рукописному отделу библиотеки Института литовского языка и литературы недавно удалось приобрести рукопись исследования известного русского поэта А. Белого о лирике Ю. Балтрушайтиса. Здесь она печатается целиком, в сопровождении комментариев В. Кубилюса, Д. Страукайте и Т. Венцловы.

TURINYS

Pratarmė	5
R. MIKŠYTĖ. LITERATORINĖS ĮTAKOS LIETUVIŲ SILABI- NEI-TONINEI EILĖDARAI	7
1. Silabotonizmo apraiškos ir kitų tautų metrikos pėdsakai	12
2. Rusų silabotonizmo pėdsakai Maironio ir P. Vaičiaičio eilėdaroje	51
Reziumė rusų kalba	86
L. SAUKA. LIETUVIŲ FOLKLORO EILĖTYROS ISTORIJS IR TEORIJS KLAUSIMAI	87
Lietuvių folkloro eilėtyra XIX—XX a.	89
I. Dainų eilėtyros pradai XIX a. lietuvių folkloristikoje	90
1. Pirmieji samprotavimai bei išvados	90
2. Lietuvių folkloro eilėdaros apibūdinimas XIX a. antrojoje pusėje	96
II. Lietuvių folkloro eilėtyros tendencijos XX a.	116
1. „Natūralinis ritmas“ ir kitos teorijos	116
2. Dainų ir sakininės tautosakos žanrų eilėdara filo- loginiuose darbuose	127
3. Muzikinės folkloristikos įnašas tiriant dainų metrą ir ritmą	142
4. Folkloro eilėdaros klausimai šeštajame ir septinta- jame dešimtmetyje	149
Teorinės folkloro eilėtyros prielaidos	176
1. Eilių ir prozos opozicija	177
2. Garsinė šnekos išraiška	182
3. Ritmo problema	192
4. Šnekos ritmas ir jo vienetai	196
5. Metras	207
6. Tyrinėjimo kryptys, uždaviniai ir metodai	218
Reziumė rusų ir anglų kalbomis	232
<i>Ambr. Jonynas.</i> Lietuvių folkloras M. Strijkovskio „Kronikoje“	239
Reziumė rusų kalba	273
<i>V. Kubilius, K. Nastopka.</i> Lenkų romantizmas ir baltų literatūros	277
<i>V. Kuzmickas.</i> S. Nėris — A. Achmatovos lyrikos vertėja	311
Reziumė rusų kalba	335

JURGIS BALTRUŠAITIS 1873—1944—1973	337
Anotacija	338
Iš nesurinktų ir nepublikuotų Jurgio Baltrušaičio eilėraščių (rusų kalba). Parengė <i>J. Tumelis</i>	339
Iš J. Baltrušaičio epistolinio palikimo. Parengė <i>K. Doveika</i> ..	364
Neįgyvendintas Jurgio Baltrušaičio sumanymas. Parengė <i>J. Tumelis</i>	374
Atsiminimai: Anotacija (381), N. Bruni-Balmont (381), P. Kli- mas (386), J. Urbšys (389), A. Šimėnas (392), J. Išoraitė- Aleknienė (394), S. Šemerys (396), E. Babrauskaitė-Žviro- nienė (397), J. Paleckis (399), A. Kakarėnas (404), K. Kor- sakas (407), J. Graičiūnas (416), A. Kniūkšta (419). Trumpai apie autorius (422)	
A. Belo rankraštis apie J. Baltrušaičio lyriką. Parengė <i>V. Ku- bilius</i> ir <i>D. Straukaitė</i>	424
A. Belo sudarytos J. Baltrušaičio eilėraščių struktūrinės sche- mos. <i>T. Venclova</i>	449
<i>T. Venclova</i> . Eilėraščio pusiausvyra	453
Jurgis Baltrušaitis 1873—1944—1973 (reziūme rusų kalba) ..	463
Iš Jurgio Narjausko korespondencijos. Parengė <i>S. Skrodenis</i> ..	464
Maksimas Gorkis ir Tarybų Sąjungos tautų literatūros. <i>V. Vanagas</i>	468
Pavardžių rodyklė	475
Iliustracijų sąrašas	489

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Р. МИКШИТЕ. ЛИТОВСКОЕ СИЛЛАБОТОНИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ В СВЕТЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЛИЯНИЙ	7
1. Проявление элементов силлаботоники и метрических систем других народов	12
2. Элементы русской силлаботоники в стихосложении Майрониса и П. Вайчайтиса	51
Резюме на русском языке	86
Л. САУКА. ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ СТИХОВЕДЕНИЯ ЛИТОВСКОГО ФОЛЬКЛОРА	87
Изучение стиха литовского фольклора в XIX—XX вв.	89
I. Вопросы песенного стихосложения в литовской фольклористике XIX в.	90
1. Первые рассуждения и выводы	90
2. Характеристика стиха литовского фольклора во второй половине XIX в.	96
II. Стихovedческие тенденции изучения литовского фольклора в XX в.	116
1. «Натуральный ритм» и другие теории	116
2. Стихосложение песенных и повествовательных жанров фольклора в филологических трудах	127
3. Вклад музыкальной фольклористики в изучение метра и ритма песен	142
4. Вопросы фольклорного стиховедения в шестом и седьмом десятилетиях	149
Теоретические предпосылки фольклорного стиховедения	176
1. Оппозиция стиха и прозы	177
2. Звуковое выражение речи	182
3. Проблема ритма	192
4. Звуковой ритм и его единицы	196
5. Метр	207
6. Направления, задачи и методы стиховедения	218
Резюме на русском и английском языках	232

Амбр. Ионинас. Литовский фольклор в «Хронике» М. Стрийковского	239
Резюме на русском языке	273
В. Кубилиус, К. Настопка. Польский романтизм и балтийские литературы	277
В. Кузмицкас. С. Нерис — переводчица поэзии А. Ахматовой	311
Резюме на русском языке	335
ЮРГИС БАЛТРУШАЙТИС 1873—1944—1973	337
Анотация	338
Из несобранных и неопубликованных стихотворений Юргиса Балтрушайтиса (на русском языке). Подготовил Ю. Тумялис	339
Из эпистолярного наследия Ю. Балтрушайтиса. Подготовил К. Довейка	364
Неосуществленный замысел Юргиса Балтрушайтиса. Подготовил Ю. Тумялис	374
Воспоминания: Анотация (381), Н. Бруни-Бальмонт (381), П. Климас (386), Ю. Урбшис (389), А. Шименас (392), Ю. Ишорайте-Алекнене (394), С. Шемерис (396), Е. Бабраускайте-Жвиронене (397), Ю. Палецкис (399), А. Какаренас (404), К. Корсакас (407). Й. Грайчюнас (416), А. Кнюкшта (419). Об авторах воспоминаний (422).	
Рукопись А. Белого о лирике Ю. Балтрушайтиса. Подготовили В. Кубилиус и Д. Страукайте	424
Составленные А. Белым структурные схемы стихотворений Ю. Балтрушайтиса. Т. Венцлова	449
Т. Венцлова. Равновесие стиха	453
Юргис Балтрушайтис 1873—1944—1973 (резюме на русском языке)	463
Из писем Юргиса Нараяускаса. Подготовил С. Скроденис	464
Максим Горький и литературы народов Советского Союза. В. Ванагас	468
Именной указатель	475
Список иллюстраций	489

ЛИТЕРАТУРА И ЯЗЫК

кн. XIII

На литовском языке

Институт литовского языка и литературы

АН Лит. ССР

Редактор Костас Корсакас

Издательство «Вага», Вильнюс, пр. Ленина 50

LITERATŪRA IR KALBA, XIII

Redaktorius V. Rakauskas

Dailininkas V. Armalas

Techn. redaktorius V. Serapinas

Korektorės L. Greblikienė ir L. Lengertienė

Duota rinkti 1974.III.28. Pasirašyta spaudai 1974.VIII.2. LV 03552. Leidybio Nr. 7661. Spaudos popierius Nr. 1, formatas 60×90¹/₁₆ — 15,5 pop. l.=31+0,5 (įkl.) sp. l.; 27,7 leid. l. 3000 egz. Užsak. Nr. 455. Kaina 1 rb 92 kp

„Vagos“ leidykla, Vilnius, Lenino pr. 50

Spaudė K. Poželos spaustuvė, Kaunas, Gedimino 10

L 0733—195
M 852(101-74 63-74

L S
Li 303

PASTEBĖTŲ KLAIDŲ ATITAIŠYMAS

Psl.	Eilutė	Išspausdinta	Turi būti
34	15 iš ap.	Kalvėnas	Kalnėnas
60	12 iš virš.	вилился	вилися
"	19 " "	"	"
112	15 iš ap.	!ėра	léра
232	5 iš virš.	фольклора	фольклорного
339	12 iš ap.	не извест-	неизвест-
341	12 iš virš.	Сакулину	Сакулина».
349	12 iš ap.	сердце	сердцу
361	3 iš ap.	отправленное	отправленная
"	2 iš ap.	из — Меррекюля	из Меррекюля
377	14 iš virš.	М. ir V. Sabašnikovų	М. ir S. Sabašnikovų
385	6 iš virš.	Зайцевы — и	Зайцевы и
439	5 iš virš.	беспутница	беспутица
441	18 iš virš.	открытъ	открытый
476	4 iš virš.	Brazys R.	Brazys T.
"	11 iš virš.	Brugmanas F.	Brugmanas K.
483	17 iš virš.	Seinius J.	Seinius I.